ЗАПИСКИ МЕЧТАТЕЛЕЙ

№ 4

«АЛКОНОСТ»
ПЕТЕРБУРГ
1921

Умер Александр Александрович Блок.

Что делать? Что сказать? Первое чувство — молчание.

Для нас Блок был слишком близок и дорог, чтобы в первые часы, дни, недели можно было осознать гнетущую потерю, примириться с мыслью: Блока нет.

Наш путь мы должны совершать без него.

Горько сознание: поэт, первый поэт XX века, глубинный трагический художник ушел от всех нас навсегда.

Нам, близким друзьям и сотрудникам его суждена и иная горечь: ушел от нас человек, начинавший с нами общее дело, вдохновлявший на трудную работу, помогавший словом и делом, сочувствием и сотрудничеством.

В тяжелые дни родился «Алконост» и если он жил и рос, если он достигал каких то успехов, то только потому, что Блок с первого дня был с ним.

Радовало подсознательное чувство: Блок есть. Каждую минуту можно увидеть его открытую детскую улыбку, услышать неизгладимый в памяти голос, говорить про общую работу, слышать слова сочувствия и ободрения и не только слова, а дела любимого общего труда. Это давало уверенность и силу.

Наше дело — его дело; им положен первый камень, он работал с нами до последнего дня.

И вот — нет Блока. И наше дело, дело Блока, становится теперь нашим долгом к Блоку.

Первое чувство — молчание — надо преодолеть.

Мы будем говорить о нем, великом художнике и поэте России, будем бессменно работать над «вечною памятью» Блоку.

Теперь же наше чувство не о Блоке художнике, а о человеке, близость которого была нам такой великой радостью, утрату которого мы переживаем как безутешное горé, для которого во-истину слов не хватает, ибо умер Александр Александрович Блок.

Алконост.

Скончался Александр Александрович Блок, первый поэт современности; смолк — первый голос; оборвалась песня песен; в созвездии (Пушкин, Некрасов, Фет, Баратынский, Тютчев, Жуковский, Державин и Лермонтов) вспыхнуло: Александр Блок...

Александр Александрович есть единственно «вечный» из русских поэтов текущего века, соединивший стихию поэзии нашего национального дня с мировою эпохой, преобразивший утонченность непропетого трепета тем, исключительно углубленных в звук, внятный России, раздольный, как ветер, явивший по новому Душу России»... Невнятны во внятице, внятны в невнятном его Незнакомка, Прекрасная Дама, Россия, Америка Новая, «Скифы», «Двенадцать», — реальные в символизме, универсальные в субъективности; темы — лишь ноты его темы тем, где сплетаются: мистика, философия, огневое гражданское чувство с метафорой, мифом и ритмом; понятен он специалистам: стилистам, учащейся молодежи, рабочим, всем русским, французам, германцам... Воистину, Urbi et orbi поэт, он есть наш, исключительный, общий, любимый, пропевший для каждого, для отдельного; и оттого средь плеяды совсем исключительных и уважаемых дарований — совсем исключительный он: мы ему подарили любовь — мы сыны страшных лет, увидавшие в Музе его наш же лик в неосознанном корне, ей слитые целостность, как бы ее мы ни звали (душою ль России, душой ли всего человечества, мира...); Прекрасною Дамою, Незнакомкою, Мэри и «Катькою» разно проходит в нас целостность этой поэзии, цельной в целинных глубинах его неразгаданной, замечательной личности.

Нам, его близко знававшим, стоял он прекрасной загадкой то близкий, то дальний (прекрасный — всегда). Мы не знали, кто больше, — поэт национальный, иль чуткий, единственный человек, заслоняемый порфирою поэтической славы, как... тенью, из складок которой порой выступали черты благородного, всепонимающего, нового и прекрасного человека: καλος κἀγαθος» — так и хочется определить сочетание доброты, красоты и правдивости, штриховавшей

суровостью мягкий облик души его, не выносящей реторики, аффектации, позы, «поэзии», фальши и прочих «бум-бумов», столь свойственных проповедникам, поэтическим «мэтрам» и прочим «великим»; всечеловечное, чуткое и глубокое сердце его отражало эпоху, которую нес он в себе, и которую не разложишь на «социологию», «мистику», «философию», или «стилистику»; не объяснишь это сердце, которое, отображая Россию, так билось грядущим, всечеловеческим; и не мирясь с суррогатами истинно-нового, не мирясь с суррогатами вечно-сущего в данном вокруг, — разорвалось: Александр Александрович, не сказав суррогатам того и другого «да будет» — задохся; «трагедия творчества» не пощадила его; мы его потеряли, как... Пушкина; он, как и Пушкин, искал себе смерти: и мы не могли уберечь это сердце; как и всегда, бережем мы лишь память, а не живую, кипящую, творчеством бьющую жизнь!..

Светлы, легки лазури.
Они темны — без дна.

Лазуреющий цвет его строк, оплеснувший, как крыльями, все поколение наше, при приближении к ним начинает глубинно темнеть до... чернеющей бездны последнего, третьего тома; и до — «Двенадцати». Блок — глубиннейший русский поэт — стал, однако, поэт, общий всем: углубляются в нем струи времени нашего и человеческий, новый воистину, лик говорит без единого слова молчанием с нами; под покровом явлений — молчание в Тютчеве; под покровом молчания этого — новое, косноязычное пока слово, воистину нового Человека, который жил в Блоке, который поэтом, владеющим магией сочетания звуков, не высказан, не вмещен; эта встреча «поэта» с Челом восходящего Века — трагедия Блока:

Молчите, проклятые книги:
Я вас не писал никогда...

Человека его понимаем: его «Книга Книг» не написана — «Голубиная книга», «Глубинная Книга»; но текстами ненаписанной книги порою мерцала нам личность его; и заслоняла поэта; та книга напишется будущей эрой, которая выражалась в «поэте» порой в сочетаниях непримиримых, казалось, течений и веяний, нарушавших гармонию зорь и голубого налета исконного в нем романтизма, — жила в преломленьях гностической философии Владимира Соловьева, в роскошествах Фетовой лирики, соединенных с терзанием демона-

человека и (Врубель, и Лермонтов), и с расширением русской, «гражданской», общественной мысли, столь чуждой поэтам, могущим сказаться; Блок словом сказал больше их; еще большого он не сказал: промолчал и унес; под тишиной, под поверхностью Светлого озера этой широкой души, отразившей окрестные берега русской жизни — какие кипения духа! И звоны укрытого Китежа, и клокотанье, как лавовых, струй возмущаемого душевно-духовного мира; под тихой поверхностью не стучало, а прядало красною лавою сердце его, но открылся вулкан: и — большой человек отошел.

Отзовемся и двинемся ближе к нему; постараемся распечатать, раскрыть нашу память о нем: и сотворим ему Вечную Память!..

Андрей Белый.

Два Блока: один — в шлеме, в рыцарских латах, в романтическом плаще; и другой — наш, земной, в неизменном белом свитере, в черном пиджаке, с двумя глубоко врезанными складками по углам губ.

Один из этих двух, конечно, не умер. Рыцарь Прекрасной Дамы — в стеклянные майския ночи всегда будут бродить по Петербургу и с тоской вглядываться в лица встречных: не Она ли? И на снежных перекрестках, где гудит и воет безумная метель, он всегда будет слушать голоса широкого степного ветра: не этот ли, единственный, голос?

Поэт Блок — жив, пока живы мечтатели (а это племя — бессмертно). Но человек — Блок умер. И именно о человеке наша боль — о человеке, какого нельзя было не любить, какого — многие любили, быть может, против воли. Трудно приняты мысли, что никогда больше не увидишь его строгое и нежное лицо, никогда не услышишь его удивительный, прозрачный, как у детей смех. От этого никогда, от враждебной земному человеку безконечности — наша, земная, боль.

Иногда кажется, что у смерти есть своя логика, своя мудрость. Скрябин умер тогда, когда он подошел к дверям своего «Действа», к дверям, которые ему, человеку, не под силу было открыть. Быть может, и в смерти Блока была своя мудрость: Блок слишком много себя отдал последней своей Прекрасной Даме — огненной и вольной стихии — и слишком больно ему было, когда от огня — остался только дым. В дыму он не мог жить. И вот почему в его смерти — какая-то логика.

Но чувству — нет дела ни до каких логик. Боль от того, что человека нет с нами и не будет — боль все такая же.

Евг. Замятин.

Август 1921 г.

НИ СНЫ, НИ ЯВЬ.

Мы сидели на закате всем семейством под липами и пили чай. За сиренями из оврага уже поднимался туман.

Стало слышно, как точат косы. Соседние мужики вышли косить купеческий луг. Не орут, не ругаются, как всегда. Косы зашаркали по траве, слышно — штук двадцать.

Вдруг один из них завел песню. Без усилия полился и сразу наполнил и овраг, и рощу, и сад сильный серебрянный тенор. За сиренью, за туманом ничего не разглядеть, по голосу узнаю, что поет Григорий Хрипунов; но я никогда не думал, что у маленького, фабричного, гнилого Григория такой сильный голос.

Мужики подхватили песню. А мы все страшно смутились.

Я не знаю, не разбираю слов; а песня все растет. Соседние мужики никогда еще так не пели. Мне неловко сидеть, щекочет в горле, хочется плакать. Я вскочил и убежал в дальний угол сада.

После этого все и пошло прахом.

Мужики, которые пели, принесли из Москвы сифилис и разнесли по всем деревням. Купец, чей луг косили, вовсе спился, и, с пьяных глаз, сам поджог сенные сараи в своей усадьбе. Дьякон нарожал незаконных детей. У Федота в избе потолок совсем провалился, а Федот его не чинит. У нас старые стали умирать, а молодые стариться. Дядюшка мой стал говорить глупости, каких никогда еще не говорил. Я тоже — на следующее утро пошел рубить старую сирень.

Сирень была столетняя, дворянская: кисти цветов негустые и голубоватые, а ствол такой, что топор еле берет. Я ее всю вырубил, а за ней — березовая роща. Я срубил и рощу, а за рощей — овраг. Из оврага мне уж ничего не видно, кроме собственного дома над головой: он теперь стоит, открытый всем ветрам и бурям. Если подкопаться под него, он упадет и накроет меня собой.

Все вообще возмутились. Невозмутимым остался один только «политический», который все время тут путался по дорогам на вело-

сипеде, нелегально. Урядник всегда ездил низом, прямо через болото, а «политический» — верхом, по дороге. Бывало, урядник ушмыгнет в кусты на своих беговых дрожках, как курица, мокрый от водки; а уж с горки соколом катит на велосипеде «политический»; на штанах у него прилипли и в педалях велосипеда застряли репьи. Собаки совершенно осипли, крутят хвостами в облаке пыли.

Итак, все мы кончили довольно плохо: «изменились скоро, во мгновение ока, по последней трубе», как и предупреждал дьякон.

Но ведь «политический», что бы не произошло, всегда останется «политическим» и «нелегальным». Такая его порода. Впрочем, я ведь всегда считал основой жизни мир, который, однако, вольно и невольно, сам же и нарушал.

Всю жизнь мы прождали счастия, как люди в сумерки, долгие часы, ждут поезда — на открытой, занесенной снегом платформе. Ослепли от снега и все ждут, когда появятся на повороте три огня.

Вот, наконец, высокий, узкий паровоз; но уже не на радость: все так устали, так холодно, что нельзя согреться даже в теплом вагоне.

Усталая душа присела у порога могилы. Опять весна, опять на крутизнах цветет миндаль. Мимо проходят Магдалина с сосудом Петр с ключами; Саломея несет голову на блюде; ее миловое с золотом платье такое широкое и тяжелое, что ей приходится откидывать его ногой.

— Душа моя, где же твое тело?

— Тело мое все еще бродит по земле, стараясь не потерять душу, но давно уже ее потеряв.

Окончательно разозлившийся чорт придумал самую жестокую муку и посылает бедную душу в Россию. Душа смиренно соглашается и на это. Остальные черти рукоплещут старшему за его чудовищную изобретательность.

Душа мытарствует по России в XX столетии...

Весенние лесные проталины. Снег почти сошел; только под старыми елями сереет ледяная корка. Душистый воздух. Среди елей образовалась огромная заводь; в ней отражается утро.

За лесом — необъятная равнина. На равнине — необъятная толпа мужиков. Один подвязывает лапоть; другой умывает лицо талым снегом; третий засучивает рукава рубахи: собрались куда то.

Из большой, наскоро сложенной кузни валит дым. Мужики тащат плуги и бороны в переплав.

А за деревней, на холмах, остановились богатыри: сияние кольчуг, больше ничего не разобрать. Один выехал вперед, конь крепко уперся ногами в землю, всадник протянул руку, показывает далеко, за лес.

Вдруг, толпа двинулась по направлению, указанному рукой богатыря. На плечи взмахиваются вилы; у других — странные, старинные мечи.

Мужики идут, по колена утопают в озерах тали, и весь лес наполнился шелестом лаптей.

Теперь — тише. Наступает молчание. Я закрываю глаза, и передо мною проходят обрывки образов, частью знакомых, частью — нет. Они стесняют грудь, так что становится душно. Перед закрытыми веками проплывают радужные пятна...

Я открываю глаза — все та же лампа, и на кресле, под лампой, она: верхняя половина ея лица в тени; освещен приоткрытый рот; в темноте, сквозь приспущенные веки, меня по прежнему преследуют эти всегда пьяные глаза.

Однажды, стараясь уйти от своей души, он прогуливался по самым тихим и самым чистым улицам. Однако, душа упорно следовала за ним, как ни трудно было ей, потрепанной, поспевать за его молодой походкой.

Вдруг, над крышей высокого дома, в серых сумерках зимнего дня, появилось лицо. Она протягивала к нему руки и говорила:

— Я давно тянусь к тебе из чистых и тихих стран неба. Едкий городской дым кутает меня в грязную шубу. Руки мне режут телеграфные провода. Перестань называть меня разными именами — у меня одно имя. Перестань искать меня там и тут — я здесь.

Никакого ответа на его тоскливые жалобы. Только фонтан роняет струйки; а длинные травы в узком хрустале благоухают.

Всю ночь он пробродил вдоль черной реки, а утром подошел к церкви. По снежной площади, наискосок, огибая паперть, протрюхала сонная тройка: по бокам висели гроздьями шесть пьяных офицеров и дам. Очевидно, жаловаться было некому, и думать не о чем.

Он решил вернуться домой, пока она спит.

— По вечерам я всегда обхожу сад. У заднего забора есть такое место между рябиной и боярышником, где днем особенно греет солнце. Но по вечерам я уже несколько раз видел на этом месте...

— Что?

— Там копается в земле какой то человек, стоя на коленях, спиной ко мне. Покопавшись, он складывает руки рупором и говорит глухим голосом в открытую яму:

«Эй, вы, торопитесь».

— Так что же?

— Дальше я уж не смотрю и не слушаю: так невыносимо страшно, что я бегу без оглядки, зажимая уши.

— Да ведь это — садовник.

— Раз ему даже ответили; многие голоса сказали из ямы: «Всегда поспеем». Тогда он встал, не торопясь, и, не оборачиваясь ко мне, уполз за угол.

— Что же тут необыкновенного? Садовник говорил с рабочими. Тебе все мерещится.

— Эх, не знаете вы, не знаете.

19 марта 1921 г.
(1907, 1909 и новое)

Александр Блок.

СТИХОТВОРЕИЯ АННЫ АХМАТОВОЙ.

СТРАХ.

Страх, во тьме перебирая вещи,
Лунный луч наводит на топор,
За стеною слышен стук зловещий
Что там? — крысы, призрак или вор?

В душной кухне плещется водою,
Половицам шатким счет ведет,
С глянцевитой черной бородою
За окном чердачным прошмыгнет —

И притихнет. Как он зол и ловок:
Спички спрятал и свечу задул.
Лучше бы поблескиванье дул
В грудь мою направленных винтовок.

Прижимаю к сердцу крестик гладкий...
Боже! мир душе моей верни...
Запах тленья обморочно-сладкий
Веет от прохладной простыни.

27/28 августа 1921.
Царское-Село.

* * *

Пока не свалюсь под забором
И ветер меня не добьет
Мечта о спасении скором
Меня как проклятие жжет.

Упрямая жду, что случится,
Как в песне случится со мной —
Уверенно в дверь постучится
И прежний, веселый. земной.

Войдет он и скажет: «довольно»,
Ты видишь я тоже простил!
Не будет ни страшно — ни — больно,
Ни роз, ни архангельских сил.

Затем и в беспамятстве смуты
Я сердце свое берегу,
Что смерти без этой минуты
Представить себе не могу.

Август 1921.

* * *

Кое как удалось разлучиться
И постылый огонь потушить,
Враг мой вечный, пока научиться
Вам кого нибудь вправду любить.

Я то вольная. Все мне забава;
Ночью Муза слетит утешать
А на утро притащится слава
Погремушкой над ухом трещать

Обо мне и молиться не стоит,
И уйдя оглянуться назад,
Черный ветер меня успокоит,
Веселит золотой листопад.

Как подарок приму я разлуку,
И забвение как благодать..,
Но скажи мне? — на крестную муку,
Ты другую посмеешь послать.

Август 1921.

---

* *
*

А! ты думал я тоже такая,
Что можно забыть меня,
И что брошусь моля и рыдая
Под копыто гнедого коня.

Или стану просить у знахарок
В наговорной воде корешок,
Иль пришлю тебе страшный подарок
Мой заветный душистый платок.

Будь же проклят. Ни словом ни взглядом
Окаянной душой не коснусь.
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом
Я к тебе никогда не вернусь.

Июль. 1921.

---

* * *

Путник милый! Ты далече,
Но с тобою говорю,
В небесах зажглися свечи
Провожающих зарю.

Путник мой, скорей направо
Обрати свой светлый взор;
Здесь живет дракон лукавый
Мой властитель с давних пор.

А в пещере у дракона
Нет пощады, нет закона
И висит на стенке плеть,
Чтобы песен мне не петь.

И дракон крылатый мучит
Он меня смиренью учит,
Чтоб забыла дерзкий смех,
Чтобы стала лучше всех.

Путник милый! В город дальний
Унеси мои слова,
Чтобы сделался печальней
Тот, кем я еще жива.

22 июня 1921.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НИКОЛАЯ ЛЕТАЕВА

(«ЭПОПЕЯ» — ТОМ ПЕРВЫЙ)

КРЕЩЕНЫЙ КИТАЕЦ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

«*Преступление Николая Летаева*» — первый том серии томов «*Эпопеи*», задуманной автором; в нем изображено детство героя в том критическом пункте, где ребенок, становясь отроком, этим самым свершает первое преступление: грех первородный, наследственность проявляется в нем.

В изображении ребенка, конечно, я пользовался и своими детскими воспоминаниями; и отчасти пользовался в изображении родителей Котика некоторыми (весьма немногими) штрихами, взятыми у своих родителей; но вся фабула, постановка характеров, конфигурация человеческих отношений есть плод чистейшей фантазии автора; и тот, кто хотел бы проводить параллель между детством автора и детством «Котика» впал бы в глубочайшее заблуждение, основанное на том, что ни одна художественная деталь, ни одно действующее лицо не бывает вымыслом из ничего, но покоится на наблюденном в себе и вокруг себя; искусство заключается в свободном сочетании черт, та или иная черта характера отца Котика, например, проходит сквозь ряд людей, наблюденных автором; обратно: характер профессора Летаева сложен автором из целой группы людей, из которых каждое лицо обладало той или иной особенностью; то же—о характере матери Котика; искать аналогии с жизнью определенных лиц в этом романе—значит не понимать заданий автора, а также заданий художественной литературы; в ней с одной стороны все—копия с натуры; с другой—все вымысел.

В первой главе изображен фон романа—профессорская квартира эпохи Александра III. Эпоха, история в этом томе «Эпопеи» выдвинута сознательно; роман—наполови́ну биографический, на половину исторический; отсюда появление на страницах романа лиц, действительно существовавших (Усов, Ковалевский, Анучин, Веселовский и др.); но автор берет их, как исторические вымыслы, на правах

историка-романиста (в «Князе Серебряном» Грозный ведь— полувымысел).

Автору остается сказать лишь два слова о связи Первого тома с предисловием к «Эпопее» (т. е. серией еще не написанных томов); это предисловие само по себе представляет повесть, которую под заглавием «Записки Чудака» автор начал печатать в «Записках Мечтателей». Но печатание этого предисловия грозит затянуться на годы; между тем, оно может представить собой интерес лишь для особой группы читателей, не боящихся «дебрей» отвлеченных переживаний. Автор, однако, должен сознаться, что эти «дебри» для него конкретнее предлагаемого тома; для «дебрей» нужно созреть; «Записки Чудака»—для элиты; первый том «Эпопеи» для всех художественно развитых; «Записки Чудака»—для друзей близких автору; не желая навязываться «близостью», автор временно «прекращает» печатание «Записок Чудака» («Не скрою: могу... в прежнем стиле преподнести ему»—читателю—«утончения контрапунктов из образов и красиво отделанных фраз...: бэби, барышню и овечку»—так писал я в «Записках Чудака»... Преподношу!) В «Записках Чудака» я писал: «Пишу, как сапожник»... И еще: «Что же это такое вы нам предлагаете? Это... какие-то не связанные кусочки воспоминаний и—перепрыги». Этой фразой автор сам наперед наметил линию критики: критика повторила мнение автора; поздравляю ее с дальновидностью: она ломилась в открытую ей гостеприимно дверь. Отвлеченность «Записок Чудака» есть отвлеченность предисловия основная тема «Записок» в последующих томах задуманной «Эпопеи» пройдет в конкретном, «романном» виде, обросши фабулой и не представляя собой «записок». Считаю нужным это оговорить, ибо иные из читателей моих доселе смешивают «Эпопею» с «Записками» т. е. с предисловием к ней.

Андрей Белый.

1921 года. Июль.

КАБИНЕТИК.

У окон:—

— протертый, профессорский стол с очень выцветшим, серозеленым сукном, проседающий кучками книг; здесь пузато уселась большая чернильница; падали: карандаши, карандашики, циркули, транспортиры, резиночки; лампа: зеленый металл прочернился, а абажур—лепестился, валялись листочки и письма с французскими, русскими, шведскими, американскими марками, пачки повесток, разорванных бандеролей, нераспечатанных и неразрезанных книжечек, книжек и книжищ от Ланга, Готье и других; составлялись огромныя груды, грозящие частым обвалом, переносимые на-пол, под стол и на окна, откуда они поднимались все выше, туша дневной свет и бросая угрюмые сумерки на-пол, чтобы отдаться на полки и полочки, или подпрыгнуть на шкаф, очень туго набитый коричневыми переплетами и посыпать густо сеимой пылью обои потертого шеколадного цвета, и—серого папочку; в серой своей разлетайке посиживал он, скрипя стулом, и уронивши в сукно вычисляющий нос,—где с надсадой вышептывал он:—

—«Эн, эм, эс!» —

—принимаясь чинить карандашик; отсюда в пыли, в паутине и в листиках рассылал шепоточки и письма свои Миттах-Лефлеру, Пуанкаре или Клейну [1]) и прочим,—

—ожесточаяся и умоляя Дуняшу и маму оставить в покое бумаги:

— «Не путайте, знаете, мне»...

— «Да ведь пыль, барин,—видите»...

— «Нет уж, оставьте: бумажечка каждая, знаете-ли,—документ: переложите,—ничего не найдешь»...

---

[1]) Математики.

Он отсюда вставал; и рассеянно шел коридором, столовой; и попадал он в гостиную; остановившись пред зеркалом, точно не видя себя, он стоял и вычерчивал пальцем по воздуху знаки; случайно увидев себя пред собой, он впивался в себя самого очень зверски, поставив два пальца себе под очки; и не мог оторваться, не мог оторваться от пренелепо построенной головы, полновесной, давящей и плющащей папу (казался квадратным он), и созерцающей из под стекол очков глубоко приседавшими, малыми, очень раскосыми глазками, тупо расставленным носом; он гладил тогда полнощекое это лицо полнотелой рукой; повернувшись, старался увидеть свой собственный профиль (а профиль был скифский), крутой, кудробрадый, казавшийся зверским; смешной он такой:—

—да—

—домашний

пиджак укорочен; кончается выше жилета; пиджак широчайше надут; панталоны оттянуты; водит плечами, переправляя подтяжки; подтянет,—опустятся; в этом своем пиджаке, как в мешке, может смело вращаться—направо, налево; и кажется косо надетым пиджак; и от этого —что-то раскосое в папочке; он закосил пиджаком; очень часто он скашивал руки; и ногу он ставил на пол тяжелее, чем следует.

Помню, бывало,—

— стоит он таким голованом, засунувши руку в жестокую бороду — пальцами, и приподнявши на лоб жестяные очки, наклонив на-бок лоб со свирепою, лоб перерезавшей складкою, точно решаясь на страшное дело; рукой барабанит по двери;

и —

— туловище перевернулося животом как-то наискось от плечей; ноги тоже поставлены косо; такой он тяжелый и грузный от этого перемещенья осей;—

— он стоит: —

— тарарахая пальцами в дверь, свирепеет; и — шепчется, шепчется, шепчется; страшно мне, страшно: какое то есть тут «свое».

— «Ах, да что вы такое»—окликнет его проходящая мама с ключами; идет она в шкаф—за корсажем, малиновым, плюшевым; и—за такою же юбкою.

Папочка тут переменится; высунет голову и поморгает на мамочку робкими глазками, будто накрыли его:

— «Ах, да я-с?»

— «Ничего себе...

— «Такс-с!»

Барабанит ногами себе в кабинетик, какой то косой:

— «Да, идите себе!»

— «Вычисляйте!»

Споткнется словами, рассеянно повернув и благодушно-рассеянный, песий какой то свой лик, и посмотрит надглазьем приподнятых стекол (очковых).

— «Да я уж и так, мой Лизок... вычисляю»...

А мама улыбкой укажет:

— «Чудак».

И позванивая хлопотливо ключами, идет за малиновым, плюшевым, бальным корсажем, за плюшевой юбкою; кружево—черное; нет рукавов; на груди—большой вырез; она голорукая и гологрудая, густо напудрив головку и в волосы вставив эгретку,—седая какая то—едет плясать и кружиться в огромном гран-роне.

А папа опять припадет вычислять над давно выцветающим, серозеленым сукном, выпивая чернила чернильницы—в листиках, карандашах, карандашиках, транспортирах и книжищах: развычисляется, размахается, вскочит, забегает в паутинниках, все сотрясая; подпрыгнет он с вышептом —

— «Эн, эм, эс: ах!» —

— натолкнувшись на книжную груду:

— «Сломал: фу-ты, дьявольщина!»

Сосредоточенно принимается вдруг очинять карандашик, стараясь его острие превратить просто в точку: тогда наступает молчание; после опять поднимаются охи да вздохи о свойствах какого то мира, иного, не нашего; я наблюдал, как он гулко расхаживал взад и вперед, повисая косматой своей головой как то горько и терпко, свисая направо, и глядя на ровные полки коричневых корешков исподлобья, как будто он делал им смотр; с карандашиком правую руку всегда прижимал он к груди, бросив в воздух махавшую левую руку и два оттопыривал пальца на фоне обой шоколадного цвета; и вдруг начинал он так мягко сиять добротой, когда контуры нового исчисления «эф, икс» перед ним восставали; о нем сообщали в Сорбонне; о нем математик французский, Дарбу, обменялся уже впечатлением с папочкой, а Чебышев [1] — содрогался.

---

[1] Пафнутий Львович Чебышев, русский математик.

Я знаю, что тут развелись скорпионы—не злые, а книжные; папа мне раз показал скорпиона, перехвативши меня, проходившего мимо; прижал меня к шкафу; и открывая огромный и пахнущий фолиант том Лагранжа, подставил его мне под нос; показал скорпионика, очень довольный событием этим.

— «Ти-ти... Ти-ти-ти!...» приговаривал он, догоняя его на странице Лагранжа большим указательным пальцем.

— «Ти-ти»—и лицо засморчи́лось морщинками—юмористически, чуть саркастически, но добродушно и радостно:

— «Ах ты, смотрика: ведь ползает, ползает шельма!»

И мне подморгнувши татарскими глазками, он произнес с уважительным шопотом.

— «Знаешь ли, Котенька, он поедает микробов: полезная бестия.

— «Да!»

Скорпиончика я рассмотрел на странице Лагранжа; он—маленький, ползает, уничтожает микробов; полезная шельма! А папа, захлопнув полезную шельму, убрал ее в шкаф; и—запахло антоновкой (эти антоновки он покупал, одаряя антоновкой нас за обедом).

Раз в год, облекаясь в халат, подымал столбы пыли он грязною тряпкой, чихая и кашляя; тут он сносил, что не нужно в кофейного цвета шкафы, наполнявшие и расширение коридора (меж детской), пытаясь шкафами ввалиться к нам в детскую и запрудить вовсе выход: закупорить книгами нас; и порой отправлялся с Дуняшей и дворником он в кладовую, снося весь излишек скопившихся масс; но Антон, дворник наш, подобравши ключи к кладовой и вступив в соглашение с жуликом, книги вытаскивал; книгами папы еще после смерти его торговали в Москве букинисты.

Да, да:—

— На шкафах поднялись многогорбые, книжные груды, завешанные зеленой материей,—пыльной, как все; среди них помещалась кроватка, скрипучая, с жестким матрациком и с одеяльцем такого ж, как все, шоколадного цвета, торчали две туфли и множество серых от пыли сапог, поражая меня рыжевато-нечищенным видом своих голенищ—среди гирь,—

—поднимаемых папой с натугою:

— «Раз!

— «Два!..

. . . .

— «Шестнадцать!» —

— (страдал он запором)—

— шкафы умножались; а—новые ставились, в грустных годах обрастая кровать (в головах и в боках, и в ногах!), образуя средь комнаты комнату с узким проходом, куда удалялся наш папа: полеживать с книгой:—

—бывало:—

—пойдешь,— и увидишь в градации мягких тонов шоколадного, серо-кофейного, серого, серо-зеленого цвета лежит на постели с очками на лбу, закрывая глаза, уронивши на грудь утомленную руку (с развернутым томиком); как то бессильно другая рука повисает с постели; лежит посеревший и бледный, в морщинках; и кажется тут он старее, чем следует (в общем моложе, чем следует, выглядит он: пятьдесят ему минет!):

И думаешь:

— «Папочка...»—

— Или:—

— увидишь: раздетый лежит на боку, подоткнувшись, поджавши колени и вырисовываясь изогнутым телом; под одеяло ушла голова; только выставлен нос да кусок бороды (это он отдыхал, пообедав); и—скажешь:

— «Чай подали, папа!»—

— Привскочит: сидит на постели, глаза кулаками усиленно трет, суетится, дрожа над очками:

— «Ах, ах-с!»

. . . . .

Да, настырная книга грозила гостиной; как будто совсем невзначай, угнетенный обвалами книг, папа выдумал выставить книжную полочку: прямо в гостиную: Ай, что тут было!

Увидевши полочку, мама всплеснула руками; и личико все похудело от скуки; и—кинулось прямо в глаза; и лицо ее встало одним сплошным взглядом, придирчивым:

— «Вон!»

— «Эту гадость?»

— «Сюда?»

— «Вон-вон-вон!»

Папа нашептывал что-то такое́ «свое» относительно полочки, методически разрезая по воздуху фразы свои разрезалкой, которую всюду носил он с собой, точно книгу, чтоб мненье его относительно полочки явно легло перед нами раскрытою книгой:

— «Ну вот-с...».

Но на это как мама затопает:

— «Вон!»

— «Беспорядок!»

— «Разводите пыль. Коль хотите вы пыль разводить, то держите ее у себя!»—

— Да, я знал, что «ну, вот-с», как и все откровения папочки, быстро отправятся мамою: в кладовую—пылиться, откуда уйдут... к... букинисту!—

— Несчастная книжная полка влетела стремительно в кабинетик, обратно: боялись движения томиков с северо-западного угла, где хладел кабинетик,—на юго-восток, где пышнели парадные комнаты в чванном бесknижии; книжный, протянутый ряд, многотомный, коленчатый, длинный, как щупальце, пробовал, дверь отворивши, пролиться томами повсюду, завиться вокруг всего прочего; часто казалось, что папа, как спрут, от себя разбросал многоноги из книжных рядов и нас ловит, цепляясь за руку, за ногу объемистым томиком, силяся все сделать книжным:—

— все ходит, бывало, за мамой и все собирается дать рациональный совет, убедить ее в способах, истекающих из точки зрения папы; но рациональный совет его кажется мамочке, бабушке, Доте, Дуняше и мне только змеем словесным, пускаемым в небо страницею томика:—

—видел как дергались в небе бумажные змеи хвостом из мочала:—

— Мы головы все задерем: ничего не поймем; где все это живет и летает у папы—на небе? Но называется все это: дать рациональный совет.—

— Или способы: способы предлагались всегда им на все; и казалося: мамочке, бабушке, Доте, Дуняше и мне: если б мы принялись прилагать эти «способы» к жизни, открылось бы тотчас же «Общество распространенья технических знаний» у нас, основателем общества сделали б папочку; и секретарь заседал бы в столовой и писал протоколы, от скуки бы умерли мы:—

— Точки зрения: как разовьет точки зрения он, так становятся глазки его неприметными точками зрения; что же получится? Заговорит за столом о своих точках зрения; заговорит и не кушает: мыслями он разрезает котлеты, словами жует; так второй он разво-

дит обед за обедом; и называется все это: «у м с т в е н н о с т ь»; и возвышается «у м с т в е н н о с т ь» эта, как лоб (лоб огромный: л о б а н о м его называла скучающе мамочка); это — а б с т р а к т н о е м н е н и е, нет,—не выносит она: «Михаил Васильич, вы шли бы к себе: отправлялись бы в клуб». И а б с т р а к т н о е м н е н и е, встав от стола, тарарахнувши стулом, стараясь быть тихим, выходит и просит Дуняшу почистить ему сюртучек (половицы уже раскричались жестокими скрипами: папа, стараясь быть тихим, себе собирается в клуб).—

— Надевает сюртук не сюртук—лапсердак (одевается он не как надо, а собственным способом); «лапсердак» волочится почти что до полу, не сходится он на груди; застегнул—« т а р а р а х», оборвался: болтаются нитки, платок носовой вывисает, как хвостик из фалды, а ворот завернут и вывернут в нетерпеливости быстрого надеванья на плечи; наоборот: пиджачок укорочен, кончаяся выше жилета и надуваясь до ужаса:—

— И тем не менее папочка ходит за мамочкой с томиком; и—проповедует способы, им измышленные,—там, в кабинетике: снова и снова выходит оттуда—давать нам советы, как жить и что делать: ударит, как берковцем, словом; у мамы расширятся ужасом скуки глаза, и она ручкой ухватится за гуттаперчивый шарик; и «псс»—хочет прыснуть сосновой струей пульверизатора; но—пульверизатор не действует; в воздухе густо висит математика;—

— папа наш—скиф; он не любит духов, говоря о духах: «Мне не нужны они: я ничем не воняю», но он все же пахнет: антоновкой, полупритушенной стеариновой свечкой и пылью; порою всем вместе зараз; и не слышит он музыки; музыкой мамочка борется с папочкой;—

— все-то пытается выгранить способы жизни; и ограничить нас гранями, но не такими, как ясные грани на маминых светлых сережках: абстрактными гранями (не понимаем мы их: мама, бабушка, Дотя, Дуняша и я); мама тотчас садится играть на пьянино; и папа, нам вынесший томик французских мыслителей, тотчас уносит объемистый томик, в котором изложена нам рациональная ясность, которую он попытался однажды просунуть в гостиную: полочки нет; и—не будет!

. . . . . .

Боролись с коленчатым рядом томов, разводимых огромными быстро рыжевшими массами. Нечего делать; напялив халат, расчихавшись, раскашлявшись, папа кряхтя и вздыхая вставал на скри-

певший, давно раскачавшийся стул: произвести сортировку томов, долженствующих поступить в кладовую; казалось: давление томиков разорвет кабинет; папа в белой сорочке, со свечкой в руке и с развернутым томиком Софуса Ли упадет из пробитой стены на постель к... Генриетте Мартыновне, чтоб продолжать свое чтение.

Но кабинет все держался; и—странно сказать: умывальник поставила мама туда: выходила плескаться и брызгать на книги водою и мылом; но папе ничто не мешало вышептывать иксы и игреки, грохотом проходя мимо детской с зажженною свечкой и с томиком Софуса Ли [1]) по коридору—в ту темную комнатку, где очень часто взрывалися звуки спускаемой бурно воды, где я не был, откуда ко мне приносили... посудинку, где очень часто просиживал папа с зажженною свечкой и с томиком Софуса Ли; очень часто там портились трубы; и папа ходил проливать темно-красную жидкость и прекращать недостойные запахи: —

— способъ такой удавался;

и черные палочки, кажется, марганцевого, кислого кали стояли на полочке среди томов математики:—

— да, разводил он слова, точно черные палочки марганцевого кислого кали, уничтожая мгновенно дурной запах слов благородной тенденцией—

— Папа наш был альтруист в высшем смысле:—

— порой: в темной комнатке было так много эгоистических запахов, что перемазанный водопроводчик, гремя сапогами, туда проходил; и вытаскивал странные части: и трубы, и тазики; папа со свечкой справлялся тогда у него, в чем же, собственно говоря, заключается порча; казалось тогда: папа близится к цели; и «Общество распространения технических знаний» возникнет вот-вот перед темною комнатой; водопроводчик окажется Председателем Общества: папа же будет вести протоколы свои:—

— не позволено папе вести протоколы в гостиной!

. . . . . .

Мне дорог был он и тогда, когда делался очень похожим на голованного гнома: своей головою, ушедшей в покатые плечи, бывало, на нас повернется; и — поглядит очень пристально, чуть засосавши губу, испуская особенный звук через губы цедимого воздуха

---

[1]) Шведский математик.

«вввссс», будто хочет он что-то такое сказать; вместо этого он поморгает и, повернув свою голову, задуботолит к себе в кабинет, как в глухую пещеру.

. . . . .

Порой я вперяюся в папино, очень большое, румяное, несколько полное и обрамленное небольшою, курчавой, каштановою бородою лицо; промышляют лета на нем явственной проседью; кажется это лицо мне особенно милым (как часто боюсь я его), полновесным, давящим и плющащим папу; оно пренелепо построено; да, пренелепо построена вся голова с очень-очень большим, вылезающим лбом и с глубоко-присевшими, малыми, очень раскосыми, будто татарскими глазками; глазки, как стрелки: пошлются они в собеседника, ткнутся булавками: кажутся карими; или — забегают, вертятся, точно колесики; кажутся серыми; но, запыхавшись, споткнутся о новую мысль, улыбнутся, синея и обливая таким превосходным добром, как просветное небо за тучами.

Гром — в бороде, под усами, во рту: борода и усы: —

— обстрижется, вернется с совсем небольшой бородой, ставшей вдвое колючее, с шеею, ставшей полнее, с лицом уменьшившимся, — кажется зверским таким, изуверским таким... —

— рот: —

— широкий, просунутый верхней губою, съедающей нижнюю, спрятан щетиной сурово нависших усов, очень жестких и колющих поцелуем меня; так и кажется, рот разорвется в простецком, естественном лае: «Все это, мой Котенька, — да-да-да-да: болтовня, болтовня — болтовня либералов» (он — скиф, а не западник: рот); и пойдет, засучив кулаки, этот рот, прижимать болтуна; папа грудью провалится, шеей уйдет в набежавший на голову смятый свой ворот, опустится всей головой ниже плеч, точно бык (нос висит на ключице; очки отседают; и надо лбом — клок волос; неприятно забегали кровью налитые глазки, на шее прочерчена красная жила, и — как она бьется: —

— „Помилуйте, батенька: порете чушь! Почитали бы Канта, Спинозу и Лейбница!» и либеральный болтун отпускает крылатое слово: «Ужаснейший спорщик!» —

— Спросили однажды студенты меня на докладе:

— «Кто этот свирепый чудак?»

— Я ответил:

— «Профессор Летаев».

— «Ужаснейший спорщик!!» —

— рот — спорщик!

Но рот рассмеётся: и — кроется милое это лицо очень явственной крупной морщиной, расставленной справа и слева от носу и надувающей щеки буграми; покажутся белые, крепкие зубы, которыми папа гордится; большой, непрямой, а широкий, гусиный разъедется нос, точно старый насмешник, поставивший руки в широкие боки — ноздрями; и—вот-вот-вот он повыпрыгнет, точно живая лягушка: —

— И

станет румяным проказником папа, как сатир; ему бы на голову плющ (может быть, он с копытцами); сзади платок вывисает: совсем сатирический хвостик! Он голову выгнул и смотрит на мушку, слетевшую вниз, с потолка: «Мушка, знаете, — вовсе, как птичка: великолепнейшая машинка; такую машинку не сложит профессор Жуковский». И — с «т и - т и - т и - т и» — подбирается полной ладонью, изогнутой, к чистящей лапки «машинке». И — «цап-царап»: мушка сидит — в кулаке... —

— Нос — забавник: —

— очки: —

— очень строго сверкают они; говорит, на слова поднимает очки он, отчетливо подпирая их снизу дрожащими пальцами; руки дрожат у него от волненья; свирепые, четкие складки разрежут весь лоб, собираясь пучечком над носом.

Разгладится после, откинется: весь подобрев, просияет; и тихо сидит, в большой нежности — так: ни с того ни с сего: большелобый, очкастый, с упавшею прядью на лоб, припадая на правый на бок как то косо опущенным плечиком; и — подтянувши другое плечо прямо к уху, засунувши кисти совсем успокоенных рук под манжеты к себе; накричался; и — тихо сидит, в большой нежности,— так, ни с того, ни с сего; улыбается ясно, тишайше себе и всему, что ни есть, напоминая китайского мудреца, одолевшего мудрость И-Кинга, распространяя тончайшие запахи чая и спелых антоновок: —

— странно: ведь вот в кабинете же пахнет скорей старой книгой, бумагами, пылью, порой сургучом; а откуда же запах антоновок? —

— после скандалов и ссор пропадал этот запах; и пахло естественно: пылью.

. . . . .

Закат!

Застолбели вдали горизонты крепчающим дымом; везде неподвижно висят столбняки; еле свешиваясь, передвигаясь чуть-чуть, не спадая ни капли; и небо не небо уже; что желтей? Канареечник просто какой то! —

— и папочка — небом освеченный, духом просвеченный! —

— В небе совсем бирюзовом преясно живеют от облака певчие светочи — зовом: в вишневом; погасли: и стало сурово, и стало лилово: совсем как симфония, где окрылившийся юмор, сливаясь слезами в хрустальное озерце, приподымает звончайшие песни сквозных ледников и кристаллов; не знаешь, что это: кристаллография, музыка?

ПАПОЧКА

Знаешь: с в я т е й ш е е!

В папе живет оно; и человеку душевному кажется каменным, иль — отвлеченным от жизни, которая только «р а с с т р о й с т в о ч у в с т в и т е л ь н ы х н е р в о в»; и папа шагает по дням юмористиком, предпочитающим листики лекций всей мистике: но обожающим... почки и листики майского тополя; конфуцианская мудрость его наполняла; любимые фразы его:

— «Все есть—мера гармонии!»

— «Есть же гармония, знаете, мера же—есть!»

— «В середине и, да, в постоянстве—действительный человек проявляется»...

— «К миру идем, чтоб, став миром, над миром стать, — в мире, по отношенью к которому мир—только атом, переходя по мирам; мир миров это—мы; корень нас есть число, а число есть гармония меры».

— «Так все есть гармония меры».

Я знаю, что папа живет консерватором мер и весов; открывает он звуки гармоний при помощи чисел; невнятное, неисчислимое он от себя оттолкнет, восхищаясь и малою мушкой, и тем, что картину Риццони возможно разглядывать в лупу; часами умел углубляться он в мелочь, разглядывать мелочь; и строить из мелочи вовсе не мелочь.

Запомнилось:

— «Да, вот, вода!»

— «Аш два о: красота»!

— «Простота!»

Он доказывал всем, что шампанское—дрянь: неизящны структурные формулы сложных составов:

— «Вода есть великий, нам данный, напиток»—и в маленьких глазках—светелица; светочом мысли отплющит по скатерти пальцем—пройдется по комнате, перехвативши графинчик с водой, отчего на стенах засветлит беготней излучаемых заек; очки подтолкнувши на лоб и прищурив раскосые глазки, любуется; и освещает обряд водопития бегами мудрого слова (так: у меня уваженье к воде); утончение чувств—не изящество; нагроможденье числителя и знаменателя отношения меж раздражением внешних предметов и да, ощущением их:

—«Сложность, путанность мысли, и чувств» полагает устами он мнение нам на ковровую скатерть таинственно «не глубина; эти мысли не мысли: процесс вычисления—не результат; хороши—результаты».

— «Да, да» суетится устами усатыми он и кидается взорами —

— «да-с в результате обычно»—его разрезалка взлетает—«числитель и, да-с, знаменатель искомого отношения, да-с, сокращаются—да-с, (разрезалка по воздуху делает быстрый зигзаг, сокращая туманную мысль—в результат простой мысли) «и мы переходим: к простым отношениям!!— »

— тут озирает противника (маму) победно (но хмурится мамочка).

— «Это какая нибудь — да-да-да! — только треть, иль только вторая, а вовсе не пятая, не двадцать пятая»—очень лукаво хихикает он, указательным пальцем

ударив в стакан —

— «дзан!» —

— «Опять?»

— «Не звоните в стакан!» — вырывается возглосом мамочка...

— «Мир — отношенье простое и краткое; он—результат многосложных процессов, но он не процесс: результат!» —

— Та́т-тара́т! —

— Он под-

щелкнет: в клеенчатый круг; и — подбросит: тот круг; и — поймавши, подложит под круг этот круг (он играет кругами).

— «Пошла ерунда!»

— «До чего это скучно: опять вы устроили складки на скатерти!»

— «Да-с» — откликается, очень довольный созданием мира и выражает довольство свое в неожиданной шалости: выскочив, перебегает он грохотно небольшое пространство передней—до кухни.

Стремительно выкрикнет, дверь распахнув свой экспромт — Афросинье:

Прошу Афросинью
Нам сделать ботвинью
Без масла и мяса
Из лука и кваса;
Поевши гороху,
Пеките пепеху
Из кислого теста
О, вы, — Клитемнестра!

. . . . . .

Да, он выдвигал своим правилом: очень размеренный, все бы сказали мещанский Китай, из обычаев света, законов и правил, наполнивши правила вовсе иным содержанием, взятым —

— у Лейбница, —
— у Пифагора, —
— Лаодцы, —

— упорно старался во всем проводить это все, притесняя советами нас и врываясь глухим носорогом в негранную музыку: —

— выгранить, выгранить,
результировать, взвесить
и взлобить! —

— На это ответствует мамочка:

— «Вы, — голован!»

И выходят одни только казусы: только смешные последствия громких теорий; сам папа зажил, как святой, им самим ограниченной жизнью; казался другим ограниченным он; появляясь средь нас простецом, он бывал очень часто в смешном положении; —

— встретясь на улице с ним, не
сказали б:

— «Профессор!»
Сказали бы:
— «Жулик!» —
— менял котелочки и зонтики он
в преогромном количестве, все оставляя
свое и утаскивая чужое добро:
очень ветхое, впрочем.
Иные ловили унизить его: попадался
он тотчас же:
— «Видите?»
Раз было сказано:
— «Знаете, верно профессор Летаев страдает уже размягчением мозга?»

Да, да: рациональные способы жить не всегда удавались; и ясность французских мыслителей верно таила туманы; я долго глядел на него и загадочней мне становилися силы, слагавшие мир его; сам он себе изменял;—преступал всюду меру: безмерно выдумывал меры и способы; и забывал их; как способ заварки кислот (марганцевой и борной).

— «Ах Лизанька» раз он сказал «есть прекрасные способы предохранить наши зубы от порчи заваркой кислот!»

— «Ах вы: способы, способы!»

— «Нет, знаешь ли...

И решенье свое затаил он до времени; раз он ворвался с огромной воронкой из жести, с зеленой бутылкой, с мешком кристаллической кислоты (он пустую бутылку зачем-то купил).

— «Что вы это?»

— «А это, Лизочек... вот видишь ли, я... чтоб заваривать... борную... да, кислоту...»

— «А?.. Да кто вам позволит?»

— «Я Лизочка, быстро себе заварю...»

— «Не пущу: безобразие, срам!»

Но воистину, с бычьим упорством, отставив поднос, он поставил бутылку; возясь над воронкой:

Тут мама, не выдержав, лопнула хохотом; и тетя Дотя за нею— горошиком; тыкаясь носом в пустую бутылку и обжигая дрожащие пальцы струей кипятка, бормотал он.

— «Раствор концентрирован»

— И «ти-ти-ти» отправлялся, забулькав, в воронку раствор кислоты; раза два заварил таким образом он, позабывши о способе;

способ (воронка) отправлен был тут же: в помойку; так способы жить разрушались: способ за способом; он не препятствовал; да, он любил: результаты, итоги, способности, ставшие способом; сам же терял эти способы; жил он способностью: выдумать способы!

Помню!

Раз появился в столовой седой овцебык; такой выспрянный, важный — профессор из Киева; папочка, выскочив и потирая приветственно руки, оттрохотал в кабинет, оставляя почтенного гостя в немом изумлении.

— «Повремените: минуточку!»

Знаю: всегда так; придут — а он скроется, производить в кабинете какое-то дело, (какое, не скажет); какое — я знаю: —

— два дела

свершаются тут очень часто одно за другим; дело первое: выбег по коридорику в темную комнатку с перегоревшею свечкой: и — с томиком; там постояв, выбегает обратно; и на ходу он застегивает... не выходит: стоит перед дверью в гостиной; уже говорит из за двери, он с гостем; и — продолжает... застегивать, выставив нос из за двери то самое, что не застегнуто; знали мы это; и очень боялись, что выйдет он прежде еще, чем успеет окончить все это; но он выходил, застегнувшись; и тотчас же — с головой в разговор; —

— а второе, таимое

дело — оно заключалося в том, что:

— «Сейчас... Повремените минуточку!» —

— Скроется: выскочив радостно грохнет:

— «Василий Иваныч, я рад... Вы, Василий Иваныч, на долго из Киева?.. Вы бы, Василий Иваныч... Я вам бы, Василий Иваныч...» —

— «Василий Иваныч», «Василий Иваныч»: Василий Иваныч наверное может подумать, что тут издевательство есть над «Васильем Иванычем»; вдруг превратится «Василий Иваныч» в «Василий Ильич»; произносится это «Василий Иваныч» так радосто, точно в самом сочетании звуков «Василий Иваныч» есть тайна, которую знает лишь папа один, а «Василий Ива́ныч» не знает; и светлые зайки бегут: вот-вот-вот: —

— пробежало по скатерти, порхнуло под потолок, забыстрело зигзагом на белых обоях, по лицам; потерялося в окнах;

Москва прояснела: то—солнышко (вот так «Василий Иваныч», могу сказать!) —

— розовым крепким румянцем горят наши лица! —

— Василий Иваныч Быкаенко тронут любезностью, радостью папы:—

—о чем эта радость? —

— Я — знаю: —

— «Повремените минуточку: я, вот, сейчас»— убежит в кабинетик, напуганный, — прямо к столу; и хватается там, над столом, за карманы; за стенкой я слышу:

— «О Господи! Чорт возьми! Ах!»

— «Потерял...»

— «Где же ключик?»

— «?»

— «Здесь нет».

«Шу-шу»— шептуши́рит бумага, взвивается листик и грохает что-то...

— «Пропал!»

Наступает молчание, полное ужаса; если ключа не найдет, то не выйдет, завозится; гость—ожидает.

— «Нашел-с»!

Грохотание ящика: знаю, оттуда хватается толстая, переплетенная книга; на лоб отметнувши очки, припирается носом к страницам, исписанным скачущим подчерком; пальцами бегает, очень довольный собою и «способом»:

— «Ну-ка, посмотрим?»

И шевалди́т шептуном.

— «Так-так-так: это — «а»; это «б»: Берендеев, Бернеев, Берсеев, Берчеев... Нет — дальше: ах — нет: фу ты, чорт: Вадабаев, Вадеев; да раньше же, батюшка мой; вот: Бугаев, Будаев... Быкаенко!! Вот-с.

— «Ти-ти-ти!»

— «Вот-с!»

— «Нашел-с!»

— «Вот» доносится удивленный и радостный шопот «Василий Иваныч Быкаенко...»

— «Деятель...»

Шопот становится громче:

— «Профессор!»

И шопот становится возгласом:

— «Э...ге-ге-ге: ти́-ти́: ти-ти... Болтун!»

— «А?»

— «Скажите пожалуйста, батюшка мой!»

— «Вот ведь штука!»

— «Болтун!»

— «Либерал, австрофил!»

— «Ти-ти-ти...»

И вскочив, от волненья пробегом пройдется за стенкою, свечку зажжет, и бежит мимо детской скорее он в темную комнатку: там обсуждать непосредственно узнанное; там—он запрется: —

— я знаю: уже: —

— на подкидистом подчерке, в книгу стремясь, забегают знакомые наши — все, все (Берендеевы, Беренёвы, Бурнёвы, Бернилины, Бе́рничи, Бе́рповы, Бе́рши, Берсеевы — многие сотни их!), располагаясь фамилиями в алфавитном порядке; даются кротчайшие характиристики, имена, отчества, роды занятий и склонностей;—

— здесь почерпнувши сырой материал для беседы, мой папа, вернувшись со свечкой обратно, бежит перегромом в гостинную, к гостю; еще не вбежавши, еще спотыкнувшись за дверью, там странно застряв, он кидается взапуски словом, которое только что было подчеркнуто:

— «Да: очень рад видеть вас»—раздается за дверью.

— «Вы, верно, Василий Иванович» — скрипнула дверь и оттуда просунулся нос вместе с очень лукавым, совсем добродушным моржачьим каким-то лицом.

— «Вы, Василий Иванович» — папа за дверью старается справится с неподатливой туалетною частью:

— «Вы верно, недавно сюда?»

— «Ну что нового в Киеве?»

— «Что Антонович?» — скрипят половицы в гостинной... «Что пишет Грушевский?» скрипит уже кресло... «Здоров-ли Букреев? Захарченко-Ващенко также толста?» руки бросятся вправо и влево.

— «А как Костяковские?»

Старый профессор (болтун, либера́л, австрофил), — весь надутый, косматый, седой овцебык, не старается выдохнуть ясно пахучего мненья; першит он медлительным словом и пфакает в белый платок, — передутый, пропученный, точно бутылка — ни звука; а папочка

знает, что эта «бутылка» таит много пены и шипа; и ходит вокруг, собираясь испить разговор, и очками поводит, облизываясь как кот; он подсядет с «позвольте спросить», чтоб вонзиться, своим языком, точно штопором: —

— вертит и вертит, и вертит его, и — потягивает за пробку; «бутылка» и хлопнет; и пфукнув словами, она разольется шипучим шампанским; и все опьянеют; шипит «либеральный болтун» и заводит еловые поросли слов; мама тихо сидит васильковою кофточкой; грудкою дышит, как веером, тихо колеблемым; вижу заслушался ротик.

— «Ах, ах!»

— «Хорошо!»

— «Так красиво: так звучно».

А папа сидит юмористиком: едко, раскосо смеется и смотрит внимательно, как положили турусы на дроги: стегнут лошаденку; и благоглупость — поехала; белендрикает очередной белендряс! Папа вдруг оборвет его, щелкнувши словом, как пробкою: дернется мамочка (губки стянулись колечком); пронзительный крик, поднимаемый папой, противником самостоятельной жизни окраин, ее удручает; а папа пойдет на окраины словом:

— «Позвольте, позвольте же вы!»

И подъехавши тихо басами, подкинется взвизгами; — ну и пошел безраздельно кричать во весь рот:

— «Вы — отъявленный, батюшка мой: вы — отъявленный... Вы — с полячишками... Вы, я скажу вам, за Австрию...» — вскочит и ухает шагом; проходит тяжелым пропором чрез чуждые мнения он, ухватившись за мненье, как за сюртучную пуговку, крепкой рукой, припирая свой нос и свои два очка к подбородку Быкаенки (он его выше), на ципочки встанет; припятится в угол Быкаенко; там претяжелым раздавом додавят его; уже личико мамочки все прохудеет от скуки; и — кинется прямо в глаза; и они раскалятся, и бегают, синие, как огонечки угарного газа; тяжелым угаром больна голова; обжигают угарные глазки придирчиво все, что ни будет пред ними; меня, так меня; вероятнее — папу.

Спор крепнет за чаем:

— «За Австрию, Австрию вы, украйнская литература содержится, батюшка мой, на какие же деньги?.. Мы знаем-с про это!. Вы, я доложу-ка, вам...»

— «Я — за Шевченко... Шевченко затерли совсем москали.»

— «Как и Гоголя?» едко хихикает папа.

— «Что Гоголь? Кацап... Вот — Шевченко... Шевченко...»

— «Шевченко Шевченкою» ковырнет папа носом по воздуху... «А Антонович? А шайка его?» — и покажет глазами он в угол (и я посмотрю — не сидит ли в углу Антонович с какою-то шайкой); наш папа — русак; и я знаю от мамы, что быть русаком, — это значит: перепоясавшись красными кушаками, стучать и кричать; мама этого очень не любит, а вижу, что дело пошло к русакам; вижу папа сидит, напрягая на все свои хитрые, «скифские» глазки, совсем бисеринки, блестящие «скифскими» точками зренья на все: —

— папа — скиф, разрубатель вопросов, великий ругатель! —

— и кажется папа тираном, готовым зарезать столовым ножом, кого хочешь, — столовым ножом, им рассеянно схваченным и ударяемым в споре по скатерти, — правда тупым лезвием (все же мама боялась за скатерть, за новую, что с петухами, а не за ту, что с павлинами); помню: всегда этим ножиком папа из скатерти силился сделать котлету:

— «Да, да — Антонович, скажу откровенно вам, есть иезуит!»

Но Быкаенко пыжится (вот и поедет скандал через стол!):

— «Что же, знаете, ведь Антонович прекрасный ученый, общественный деятель: наш украйнский Эразм... Вы, наверное, не читали трудов Антоновича».

Папа же свалится словом: протянутым пальцем как тыкнет:

— «Читал-с!»

И — старается выставить армию доводов, — быстро привскочит на стуле, глазами вопьется в свое отраженье на меди, (у нас самовар красной меди), руками по воздуху рубит котлеты: и ну нам насвистывать, ну нам нащелкивать: мячиком прыгает слово по комнатам!

— «Но я скажу вам во-первых!..»

— «В десятых!!»

— «В двадцатых!!!» —

— «Да-с, да-с!»

— Знаю: «да-с» это очень чревато; из «да-с» воспоследует:

— «Как-с?!?»

— «Что такое?!?»

— «Да я бы за это за все вас...»

Но тут, спохватившись, уронит:

— Эхма!

Безнадежно отбросит салфетку на скатерть; и снова пригорбится, щелкнет крахмалом сорочки, присядет на стуле, поставит простертой ладонью он руку (подкидывать перочинный свой ножичек, не принимая в расчет возражений); другою рукою за стул зацепится, сжавши под мышкой его, и готовится пригнуть на все это—вместе со стулом; так спорят часами: —

— игрушку я видел: «Кузнец и Медведь»; передернуть дощечкой: Кузнец и Медведь закидаются бить молоточками — на середину меж ними; я вижу теперь, что все это — игра, тут «Кузнец и Медведь»: и сидят и кидаются то кулаками, то словом: на середину меж ними: —

— переберутся все мненья; разложатся папой, как карты: и эдак, и так, — пассиансиком; папа любил пассиансики; и пассиансики ловко слагал он из споров; подхватит все мненья Быкаенки; картами бросит на стол, разбросает и эдак, и так, и Быкаенко смотрит, что выйдет из мнений его (просто чорт знает что); и пыхтит он — какое-то кислое тесто; в мозгах — кочевряжина; пальцем копает и капает белою перхотью с плеши на плечи; обиженно он начинает прощаться, оставив все мнения; папа, довольный теперь, что поспорил, спохватится вдруг — законфузится, трет свои руки; и провожая в переднюю гостя, не может в душе нахвалиться он им (единомышленников не любил: он любил лишь противников).

Красный и потный Быкаенко, точно из бани, перевязавшися шарфом, просунет из шапки свое овцебычье лицо, как за сеном, склоняется к папе, а папочка весь просияв, свою голову, щурясь, вожмет в подлетевшие плечи:

— «Я, так сказать... Не принимайте слова мои к сердцу!» И полной ладонью разрежет он воздух; и — шаркнет тяжелой ногой, залезая другою рукою в карман панталон, обвисающих ниже колен носорожьими складками;

да, —

— панталоны длиннее, чем следует; серый, широкий пиджак, — он короче, чем следует; ниже колен, провисая сукном, панталоны слагали вторые какие-то ноги, которыми папа ходил — носком внутрь —

— и качаясь сутулой спиною, чуть согнутой вправо, пойдет из передней, посасывая губою и щелкая звонко во рту языком, точно он напитался; отставленной левой рукой, зацепляющей все, размахался, —

— а в правой он держит всегда: разрезалочку, карандашик, иль томик, —

— и мама пристанет к нему:

— «Накричали?»

— «Да нет же-с» — моргает на мамочку он подбежавшими, точно колесики, быстрыми, виноватыми глазками. —

«Нет же-с, зачем: поговорили мы эдак, поспорили; так-с... обсуждали» —

— Какой обсуждали! Так многие, появившись первично у нас, не являлись вторично. —

А в мамочке, знаю, уже копошится презлой муравейничек слов, очень едких:

— «Не дали мне слова сказать... Нет, не дали же слова сказать! Я—сиди, как кухарка какая-то, перемывай чашки вам... Безобразие: срам!»

Закусается после надолго квартира (и здесь муравейчик, и там муравейчик); и папочка—шарк в кабинетик; за ним, следом,—мамочка; перемещается папа по комнатам; перемещается следом по комнатам мамочка; тут произносится многое; но о «я», или «вы»—нет помину; дилинькает мамочкин рот, колокольчик, о том, как «иные» из нас на словах говорят о числе и о мере, на деле же; да, есть какие-то «некоторые, которые...»; этих «некоторых» не люблю; лучше б прямо сказала, что «вы»; а то «некоторые»—грубианы, архаровцы, руссопяты—заставят сердечко мое сильно биться; и думать, что «некоторые» ведь вот—папа. «Некоторые»—поскорей носорогами по коридору проносятся: в клуб...

. . . . .

«ЭДАКОЕ ТАКОЕ СВОЕ».

И уж утро!

Заглянешь в окно; и—общапкан вороньими лапками снег; и ворона к вороне прижалась у желоба: холодно—хохлятся; утро—невзрачное, нелюбопытное; скучно!

Вращается веретень дней—тень теней!

Моя детская—одноокопная, синяя; шкаф: мамин шкаф; очень маленький столик, два стула, постель Генриэтты Мартыновны; и—постелька: моя; сундучок и комодик; на стуле кувшинчик и тазик; за дверью, на вешалке—платья, и юбки, и кофточки, вывернутые и гля-

дящие глупо подмышником; принадлежало все это не мне: Генриэтте Мартыновне; в темном углу—этажерка с игрушками; образ над нею, старинный; таинственный изумруд, зеленейше сверкал на кровавый рубин из венца Богородицы, ямой руки ухватившей перловое тело младенца.

Я знаю, что выпадет, выпадет, их сребородие, снег: накладет серебрянников в кляклую оттепель; но—оловянные лужи проступят и к вечеру сделают синий ледок (будет рдянь): он сбежит хлопотливою струечкой; снова появится: в бóльшем количестве; все забелеет хлопчатою массой; и лужи остынут окладами холода: кладами льда:

— «Es ist kalt».

Насвистал, побежал продувной ветрогон—в неживой небосклон: свирепевших времен; уже в криках слезливые клавиши: мамочка села в столовой играть; уже хлынуло в ушки: хохочут уже надо всем. Запорхали события жизни в безбытии звуков; и мама, склоняясь над черным и резаным ящиком, взором ушла в белозубие клавишей; вижу: браслетка блистающе прыгает с маленькой ручки; серьга бриллиантит лиловенькой искоркой; мама припала головкою к звукам, дивуяся взлетными бровками (под завитушечкой)—звукам; она—разыгралась: не видит, не слышит; и—перетрясом головки она говорит:

— «Нет!»

— «Нет!»

— «Нет!»

— «Никогда, низачто!»—

— «Как вы смеете, звуки?»

А звуки-то смеют: посмеет ли мамочка? Искорка только одна «э т о» смеет; и побежала с лиловых оттенков зелеными: стала—оранжевой...

Мы с Генриэттой Мартыновной—слушаем.

. . . . .

Да, Генриэтта Мартыновна, немочка, вовсе не злая—немая, немая: говаривал папа о ней:

— «Удивительно, знаете ли, ограниченная натура!»

Она понимала—все, все:

— «Понимаете?»

— «Ja!»

— «Понимаете?»

— «Ja, o gewis—selbstverständig!»

Бывало поспорит с учеными папочка; дядя катает свой катышек хлеба, заохавши:

— «Чорт знает что: не поймешь!»

Генриэтта Мартыновна выскажет:

— «Я—поньяля!»

И курносо уставится папа, подбросивши ножик:

— «Все—поняли?»

Ножик поймает:

— «О, ja!»

— «И Спинозу, и Канта?» — а пальцы по скатерти пляшут горошками.

— «Ja, selbstverständig!»

— «Ну, хорошо же!»

Привскочит, бежит в кабинет своим правым, покатым плечом, раскачавши по воздуху левую руку; и выбегает оттуда с огромною математической книгою: фыркать на нас тарабардою:

— «Це на аш два, фи-би-ку, корень энный из «и», минус, плюс: дельта «а», дельта «бэ», дельта «це», дельта «де»... Понимаете?»

— «Ja, o gewiss!»

— «Повторите!»

— «Плюсь, миньюсь... Ja, ja: und so weiter!»

И папочка бурно подскачет (и даже подшаркнет)—

— любил, подшутивши, подпрыгнуть, подшаркнув: от этого падали бюстики (Пушкин себе отколол таким образом баку); и—

— руки свои разведет юмористиком он, наклонясь шепоточком над дядечкой:

— «Видите, видите!..»

— «Я—говорил!»

— «Недалекая вовсе: бедняжка!»

Она—развивала во мне бледнодушие.

. . . . . .

А завелась просто так (очень многое в жизни заводится т а к: блошки, крошки, пылинки!); подуешь из ротика; и—помутнело от ротика; ты нарисуешь на потном пятне угловатую рожу трясущимся пальчиком, а от нее потекут к подоконнику капельки влаги дыханья; пятно отечет, и появится снова тот розовый дом Старикова напротив; под ним людогон побежал по дороге времен; знаю: омути есть осаждение влаги дыханья; и вот надышали на зеркало мне Генриэтту Мартыновну; кто-то дохнул перед зеркалом; и потеряв отражение, зеркало стало—белесым туманом; дохнули еще: и—сидит Генриэтта Мартыновна с очень хорошеньким личиком, белым, как мел, с бело-

желтой косою,—такая какая-то вся: бледногубая, бледно-безвекая, немо вперяясь в себя перед маминым зеркалом, лучше ее отражавшим; невыразительно смотрит, оскаливши рот, на бескровные, бледные десны; и...—

. . . . .

В хлопнувших, лопнувших громко железных листах закаталась погромная крыша под ветром—над нами; и хриплою психою ветер поднялся в трубе; и уж Альмочка песинской песней ему подвывает из темной передней:

— «Чего ты?»

Да, снегопись вызвездит свой серебрянник, когда ветрогон побежит в небосклон—по дороге времен, когда в лопнувших, хлопнувших громко железных листах закатается крыша под нами:—

— то—ветер!

. . . . .

Как мама уйдет,—Генриэтта Мартыновна тихо идет за альков: посмотреться; глядится, глядится—и эдак, и так; завернет безответственный носик; и—силится, глазки скосивши, увидеть свой собственный профиль; я знаю уже: она—вымутень зеркала; пальчиком тронешь—ощупаешь только стекло; за стеклом же увидишь: херр Цетта, иль Германа; знаю: она—не она; это—Цетт, о котором с подругой они говорят на бульваре, когда мы гуляем; они называют херр Германа—Цеттом; и «Цетт» этот прочно засел у нее в голове.

Тереблю за рукав,—обернется, уставится бледною немочью; и, поморгав, мне покажет бескровные десны над глянцами ровных, фарфоровых зубок; едва я расслышу:

— «O du: dummes Kind!»

И—уткнется опять: и—не жди ничего; занимая себя самого, я брожу по пустой, отишавшей квартире; под рукомойником сяду на корточки; дверцы открою—смотрю; и стоит там ведро; я—потрогаю: склизкая «тля-тля». Граненая, медная ручка от двери меня занимает; она—зеленеет: ее ототрут кирпичом; он—толченый; украдкой лизнул я: не вкусен кирпич; ручку хочется мне отвертеть; ну,—а ну-ка, а ну-ка! Разлапое кресло косится ореховым деревом; мне улыбается лак; подойду и грызну его зубками: нет,—он невкусен!—

— А, ну-ка: пойду выковыривать глину из печки; я выковыряю кусочек, да—в ротик: мне—нравится; эдакое какое-то в привкусе! Глинка!

. . . . . .

Из каждого зреет свое, чего мне не понять; «десять»—это: поднятие пальчиков ручек; и я—не ответил; «свое»—не «мое»; и «свое» это—скрытый предмет, у другого, у всякого: мне—непонятный; раз мама сказала:

— «Да, да: он же—с «шиком...» И да: у него есть т а к о е в о т: э д а к о е — с в о е!

— «Как? Какое?»

— «Такое вот!»—ручкой помахала под лобиком; глазки же—в скатерть: такая, какая-то вся—возбужденная.

И—улыбнулась.

Меня осенило: у каждого спрятано где-то «с в о е», о котором нельзя говорить, что оно: можно только шептаться, как... громко шепталась с подругою Генриэтта; «с в о е» у ней—Ц е т т, или Герман; херр Герман таится—под «Ц е т т о м»; его называют «п р е д м е т о м»; у каждого этот «предмет»; он у мамы; у папы—иной: тот же самый, какой у мужчин; свой предмет укрывают они; но раздень их—«п р е д м е т» обнаружится.

. . . . .

Знаю, у каждого «эдакое такое» ростет, копошася отчетливым шорохом шопота, а объяснение—спрятано в складках зажатого рта под ресницами; внятно я слышал: Дуняша—гуляет с приказчиком; эту Дуняшу держать невозможно; гуляю и я с Генриэттой Мартыновной; помню: увидев меня, мама сделала глазками:

— «Ах!»

— «Помолчите!»

— «Оставьте!»

— «Ребенок...»

— «Нельзя...“

Понимаю: я — сделал «р е б е н к а»: кувырк! мама косу на грудь перекинув, кусала ее и покосилась на тетю:

— «Смотри-ка: на К о т и к а.»

— «Он кувыркается...»

— «И не вдомек...!»

Захватила в охапку меня, да и «бац» — на кроватку: хохочет, играет, катает: подшлепнула; я — завизжал; мы — визжали; а после... —

— Намек стал д о м е к о м; расши́рились внятно врата пониманья — в завратные дали; —

— толкую: —

— Дуняша гуляет с при-

казчиком: это — не важно; Дуняша заходит с гуляний к приказчику: делают что-то и это — важнее. —

— Кухарка имеет «свое»: появленье Петровича в кухне допущено; и — что-то делают; что-то наделали; —

— после являются: «Котики»; как это там происходит, — не знаю; но, — знаю —

— явился откуда-то очень крикливый Егорка, — в прошедшем году; и — отправился он в «Воспитательный Дом»; и Дуняша сказала, что ей очень стыдно, когда Афросинья ночует с своим «мужиком»; —

— да: так вот оно что: —

— неприлично лежать с мужиком; и Дуняшу держать невозможно за то ,что она нагулявшись с приказчиком, ходит к приказчику: спать.

Не мужик ли приказчик?

— «Да, как сказать, Котик, пожалуй что, — да...»

И невидящим взглядом обмерив меня исподлобья, как будто ему предложили ученый вопрос, папа в двери толкнулся из комнаты, чтобы вшептывать что-то в страницы: там все у него ведь «с в о е».

Всего более это «свое» («в о т т а к о е в о т», жуткое)—в папочке; я чрез него сотрясался от страха не раз: —

— так: племянника папы я увидел однажды; и он мне понравился; а между тем, государственный был он преступник, отправленный в жаркий Ташкент, с Кистяковским: —

— поднес ему кубики, вывалил их на колени к нему:

— «Выстрой домик!»

Но он отмахался:

— «Нет, нет!»

— «Не умеем...»

— «Мы все разрушаем...»

А я ему:

— «Выстрой!»

Он — выстроил: прелесть какой! —

— папа после потер подбородок трясущимся пальцем и выставил армию доводов против племянника, тяжко ногой припадая на пол и разрезавши в воздухе фразы свои разрезалкой, как книгой:

— «Единая целость России...»

— «Да, да, Вячеславенька, — знаешь ли — созидалась годами!..»

— «А вы — все разрушить!

И мнение папы разрезанной книгой открылось пред нами:

— «Ну вот-с, Вячеславенька, ты осознал уж отчасти свои заблужденья...»

И долго ходил он, разохавшись:

— «Все Антонович!»

— «Да, да!» —

— «Антонович» — подтопнет на слове, бывало, настаивает и глазом, и носом «науськает, знаешь ли, ты, Вячеславенька, вас, молодежь, а сам — в сторону, в сторону!» —

— Охнет: и знаю; в глазах у него совершится при этом разгром, будто вынесли все: вместо полной мыслительной жизни квартиры — пустое осталося место; пустое — от ужаса, что Антонович и шайка его несомненно погубят единство России.

В моем представленьи давно Антонович, давно провонял на весь Киевский Округ решеньем украсть убежденья: Володечки, Гореньки, Силочки, Димки, Вадимки, Олежки, — так точно, как он обокрал Вячеславеньку: —

— да, несомненно тут этакое такое свое, —

— потому что старик Антонович — профессор, как папа: из Киева; это — обман, это — «цетт», или — маска: под ней Антонович, как кажется, — душемутительный каверзник, банный плескун, даже шайник, а это скверней, чем разбойник; тот просто, присев при дороге, кидается острым ножом, передызганным прежде точильщиком, прямо пыряет в живот, и — уходит, кряхтя с очень толстым мешком на спине, — залегать в лопушиннике; этот, отъявленный каверзник, скромно надевши профессорский форменный фрак, вылезает из бани — сплошным «Антоновичем», то есть, таким, кто приходит в парами пыхтящую баню, повесивши форменный фрак, обнаруживать ужасы голых мужчин; и, весь мыльный, и пахнущий плесенью, бросит туда, в свою шайку, племянника папы, которого только что выкрал он, — пустит туда кипятку из под банного крана; племянник, еще неустойчивый молодой человек — растворится, как мыло: да, да: понимание — девочка в беленьком платьице — пляшет; и темные няни приходят бормочущим роем: ужасно невнятно, но — страшно занятно! —

— уже побе-

жал ветрогон, по дороге времен; само время, испуганный заяц, бежало, прижав свои уши.

. . . . . .

Оторванно хлопает гнутым железным листом под окошком громимая вывеска в трудной натуге: аукает, охает, àхает все, что ни есть; и — потом все, что есть, приседает молчать под окошком до нового выбега: слышу из кухоньки звуки:

— «Дзан, дзан! —

— Это, знаю, толбузят тупеющим пестиком в кухне миндаль.

И задумаюсь я надо всем этим миром — и бранным, и тленным! Прислушаюсь я, как безглаво, безруко проходят немейшие тени в чернейшие ниши; там — сходка теней; там их мно́гое множество; уголь прессует их мрачно; в углу закатались шуршащие шарики: мыши; и — быстроногие домыслы из головы побежали по комнатам; и безголово повисли сквозным руконогом теней; руконог побежал по паркетам — на стены; со стен — к потолку; —

— из теней приподы-

мется вдруг чернорогий-безног, упадет многоручьем, обру́чит, обхватит и будет высасывать все, что ни есть из меня, изливая в себя; и я буду метаться совсем невесомою тенью в его существе; и — упляшет со мною в огромные дали, за окна, где —

— в лопнувших, хлопнувших

громко железных листах закаталась погромная крыша, громимая свистом:

— «Ай, ай!»

Прибегаю — назад: к Генриэтте Мартыновне; и тереблю за рукавчик ее; отвернется от зеркала, тихо уставится бледною немочью, тихо покажет бескровные дёсны и — скажет:

— «Was willst du?»

— «O du, dummes Kind».

И — не жди ничего: ничего не придумает.

. . . . . .

Помню — она все белела; кругом же бледнело; и бледно серело, и серо темнело — в углах; так часами сидела пред маминым зеркалом; вдруг она — вскочит, возьмет меня за́-руку: быстро бежим мы от зеркала — через гостиную — в детскую; это — звонок, очень громкий: скрипят половицы; пошел самоход; это папа идет коридором из темной передней, закашлявшись, в форменном фраке, свисая большой головою направо и глядя на все исподлобья; он правой рукою прижал

очень толстый портфель, бросив в воздухи левую и барабаня по стенам дрожащими пальцами; все умолкает; лишь ветер погромом проходит по крышам; в окошке посыпался снегом сплошной серебрянник; и хриплою психой завыла из папиной комнаты печка; из труб выкидными клочкастыми дымами хлещет по крышам и окнам; смотрю из окошка: уселись в темнейшие ниши белейшие крыши; грызунчики мыши — играют все тише...

Не жди ничего!

Разве вот — Малиновскую...

. . . . . .

В хмурый октябрь перебили нам кресла в оливковый цвет; да: и в хмурый октябрь появилась у нас —

— Малиновская! —

— зеленоносая, зеленолобая: серый одер в черносерой косыночке! —

— едко вошла переплющенным плющиком: воздух испортила маме вопросиком:

— «А почему, дорогая, у вас появилась отдельная спальня? Так — да: так — и все!»

«Так и все» у нее прибавлялось ко всякому слову; такое уж свойство, заметил я в ней: появляться туда, где свершался процесс разобщенья чего бы то ни-было; все сообщенья ее приводили всегда к разобщенью; она сообщит что-нибудь, — разобщится веселое общество в злые фонтанчики ссор: —

— и фонтанчик такой начинал забивать между папой и мамой; да, да, говорят людоед поедом ест людей; говорят про нее, что она поедом ест людей: людоеда такая!

Я помню события года и строй мерных месяцев именно с этого времени: да, с октября (в октябре я родился); октябрь этот был очень снежный!

Зима! Все дома, точно гробы: суровы сугробы; в трубе свищет злостью; ворона под окнами перебегает с обглоданной костью. Гляди: Малиновская будет тебе:

— «Так и все!» —

— И она появлялась: ее уважали ужасно в профессорском круге; что скажет Варвара Семеновна, то есть закон; и она говорила такие приятные вещи; бывало истают они сладкогрушевым вкусом в устах, коль отведаешь этих вещей; и наверное вскрикнешь потом: от желудочной рези и боли в кишках; —

— говорила

такие приятные вещи мужьям о мужьях; и — такие невкусные вещи: мужьям о их женах; мужья говорили:

— «Варвара Семеновна, — да! Человек уважаемый: двадцать пять раз прочитала она от доски до доски Соловьева, историка».

Жены же их отвечали:

— «Ужасный педант!»

И прибавил однажды у нас дядя Ерш:

— «Она — просто зеленый одёр!»

Появилась в зеленой гостиной (при красной гостиной не помню ее!)

Содержала квартиру свою в лакированном блеске она; у нее было два только платья: одно — бледно серое; и другое — зеленое; в первом она выезжала; а во втором — принимала; у нас говорила она, обнимая за талию мамочку:

— «Да, так и все, — дорогая... Везде у всех — пыль... Так и все... Как приеду домой... Так и все... Я сейчас же срываю с себя это платье... Так все... А то, знаете ли, на подоле привозишь с собой из гостей столько пыли, что после приходится Аннушке пол подметать... И Николай вот Ирасович то же...» —

— Да, да: Николаем Ирасовичем обрывался все разговоры ее: —

— Николай же Ирасович был ее муж, предпочевший лет двадцать назад опуститься в могилу, чем жить таким способом... —

— У Малиновской так чисто, так чисто, что слуги уже не метут восковые паркеты, а... лижут их; или, присев, ноготком, послюнявив его, отскребают игриво пылинку от полу; мне кажется: там натирают полы языком, как и все, что случится в профессорском круге; а у стены стоят доски, обитые серой, суконной материей, чтоб невзначай, прислонившись к обоям, на них не оставил профессор своей головой маслянистого пятнышка; даже подметки шагреневых туфель самой Малиновской чисты, так чисты, что из них варят суп, подавая гостям; и профессор отведает с радостью блюдо от этой подметки; полна она сладости; сладости — всюду; —

— в одной лишь постели заводятся гадости: —

— утром ей тошно от... собственной смятой постели; и на торжественном, имянинном обеде у нас все об этом одном говорит, не боясь, что во время таких разговоров останется блюдо не тронутым.

— «Знаете,—да, дорогая моя; я как встану, так все,—вон из комнаты, вон; так и все; не могу, дорогая, я вынести вида постели неубранной; так—да, да, да: так и все; а то,—вырвет.»

И блюдо—нетронуто: всех обнесут; и никто ни кусочка:

— «А отчего вы не кушаете, дорогая моя: так и все?»

— «Ах... Варвара Семеновна!..»

— «Да? Вы страдаете несварением пищи?.. Так: да...»

И она принимается, высказав все, что могла о себе рассказать, выговаривать вслух «Николая Ирасыча».

— «У Николая Ирасыча, да,—дорогая...»

Надеялись мы, что с постелью его обстоит дело лучше...

. . . . .

Приезд Малиновской связался с зеленой обивкой гостиной, с узнаньем, что сказка предметов есть волосы, войлок и пыль, с учащением ссор в нашем доме, с вмешательством в нашу семейную жизнь посторонних ушей, огорчающих мамочку; да, Малиновская знала о всех (и была—вездесуща); я слышал про то, что и стены имеют какие то уши:

Какие же?

Думаю я: Малиновской!

Развесит у нас свои уши (сухие грибы принимал одно время за уши ее); и узнает она, что у нас появилася новая лампа:

— «Так все, дорогая!»

— «А я вот всегда говорю: постоянство и верность—естественное украшение женщины...»

— «Кстати...»

— «Скажите: зачем вы купили такую роскошную лампу, когда у вас старая лампа еще не испорчена.»

— «А почему вы—так все—переместили гостиную?»

— «Непостоянная вы, дорогая моя!»

— «Так и все!»

— «Я всегда говорю: постоянство и верность—естественное, так и все...»

— «Николай мой Ирасович!»

— «Да!»

— «Так и все!»

— «Говорил то же самое...»

— «Да!»

Мама после—рыдает; а провисень штор зеленеет у нас, разлагая свет дня; зеленеем и мы безутешно.

. . . . . .

Уже Генриетта Мартыновна тихо надела на голову гладкую шапочку с синей вуалькою: в мушках; идем на Арбат погулять: в людогоны. Долеты широких пролетов открылись обзором Арбата: летит сребропёрый снежок; и пушисто ложится; ворона с карниза нахохлилась: шариком; саночки режут полозьями снег, до камней; припустилось бежать ярконосое, злое хмурье, в башлыках; и бегут гимназистики в синих фуражках, украшенных бабочкой; прыснет в лицо серебристою свиснью; я—беленький; мы—отрясаемся; брызжем на землю мокреющей снеженью; там, у кондитера Фельша, в окне разбросали конфетки в оранжевых, гладких бумажках; и то—«Пекторал»: карамельки от кашля—скорей бы закашлять! Другое окошко; его не люблю: там стоит гуттаперчевый мальчик, приставленный к мячику; мячик с таким наконечником...—нет, не люблю его! Раз заходили сюда: Генриэтта Мартыновна здесь покупала подмышники; дальше, в окошке, кофейники, медные баночки,—неинтересны; Мосье Реттэрэ интересней: сидит за прилавком, такой чернобровый, такой чернобрадый: —

— потом его видывал седеньким я: наконец я недавно стоял пред могильным крестом, где почил от трудов он! —

— такой чернобровый, такой чернобрадый, не то, что мужчины, бегущие здесь, на морозе: они—белодеды; они—синегубы; и даже прошел черномордиком—негр!

Вот сапожник Гринблат, где меня узнают, где меня ублажают; вот Бланк и Арбатская площадь (у Бланка любуюсь я чучелом волка; и клетками с пестрыми птицами; ах, не люблю углового кофейного дома и вывески я: «Карл Мора́...»)

Ай, ай, ай!

Повалило хлопчатою массой: слетают пушинники; мерин проезжий совсем поседел; побежал перепудренный пудель, наткнулся на глупую тумбу; и вдруг завилял, будто встретил знакомого: нюхает жадно визитную карточку пёсика — храбро поднимет мохнатую ногу на глупую тумбу: —

— мне папа рассказывал: песики песикам пишут открытки на тумбе; и песик, прочтя своим носиком буковки песика,— храбро поднимет мохнатую ногу на глупую тумбу! —

— Вот дети бегут: белоглавики! Личики красны, как клюковки; важно один пуховой белоглавик ко мне подбежал: поиграть; его—знаю:

Капризник!

Сворачиваем в Малый в Кисловский переулок; боюся невнятиц; а здесь есть невнятица — «э д а к о е т а к о е с в о е:» два грифона, крылатые; и — я боюсь двух крылатых грифонов, поднявших две лапы над бойким подъездом; боюся: двух желтых, оскаленных каменных львов на воротах какого то дома: вот спрыгнут: —

— такие же точно теперь —

— два грифона, подъявши две лапы над бойким подъездом, — сидят: все еще. И сидят два оскаленных, каменных льва на воротах такого же дома: того же все дома! Недавно еще проходил по Никитской (советской Никитской!): мотоциклетка стреляла бензином; член Вцика, в ушастой, снежающей шапке, пронесся на черном авто: — поглядел очень твердым лицом на меня; я свернул в Малый Кисловский; и я увидел, чего я боялся тому назад — тридцать пять лет: я увидел —

— грифонов, крылатых, подъявших две лапы над бойким подъездом, двух желтых, оскаленных львов на воротах — того же все дома. Меня поражало «с в о е» выраженье грифонов, кровавый какой то оскал желтых львов; это снова «с в о е»; и при этом «с в о е», столь ужасное...; знаю: «с в о е» Афросиньи, Петровича, мамочки не столь ужасно, как это «с в о е» выражение львов: непонятно, чудовищно! —

— Столь же чудовищно это «с в о е» только в... папочке: —

— Да, Чебышев, математик: «с в о е» он то самое: то есть, невнятица, бред; «Ч е б ы ш е в» — невозможно обмолвиться: об Антоновиче можно еще: «Ч е б ы ш е в» же — запретен; скажи «Антонович» — налитие жил на краснеющем папином лбу я увижу немедленно; только скажи:

— «Чебышев»! и — смертельная бледность проступит на лбу.

Если папу столкнуть с Чебышевым, — случится тяжелая мерзость: мгновенно косматыми станут они; и без крика завозятся оба один над другим, совершая с сопением подлое что-то; и — дверь предварительно громко защелкнувши; только увидят друг друга, за руки — ухватятся; и — пробегут в кабинетик; и мама зальется слезами:

— «Пустите!»

В ответ лишь — глухая возня: Чебышева над папой, иль папы над ним; и — пошлют за пожарными: взламывать двери; взломают, войдут: среди крови, кровавый дрожит Чебышев — обессмысленно: папы — уж нет; или — нет Чебышева, а папа, клочкастый, затрепан-

ный, залитый кровью, копается —

— в красной говядине! —

— точно собака какая то!

О Чебышеве сказали однажды, забывши про папу, который, свисая на правый на бок головой и махая рукой с разрезалкою (левой) — на ципочках вышел; и все позабыли его; скоро я забежал в кабинетик; и вот два окна кабинетика, точно огромных два глаза багровых (был вечер) расширились, тихо багря косяки, рукомойники, стекла; во всем этом красном —

— расхаживал папа, —

— о, нет не расхаживал: бегал на ципочках, тихо крича про себя; и рукою, зажатою в крепкий кулак, на крутых поворотах — «р а з-р а з-р а з-р а з-р а з» — ударял очень быстро по воздуху!

Падал на руки он очень большой головой: точно голову эту на плечи сажали с усилием два человека, сперва надорвавшись: сидела она — как то так на боку.

. . . . . .

. . . . . .

Повернули с Арбата на Малый на Кисловский — ишь ты безлюдие; знаю: гриффоны с подъятою лапою ждут; и — за мною протянуты; но боюся и плачу; прошу повернуть; повернули — безлюдие кончилось; снова пошли людогоны; сапог золотой над Гринблатом качается в воздухе; все потемнело; и мне одиноко и строго; за снежными тучами все чересчур напряглось: ужасает; и вот занялся огонек—такой вещий; он злеет из близкого дома; и все чебышится гриффонится, гримассирует, львовится; все подвывает; все окна — чернеют; садятся под окна; и ночь чернорого уставилась в окна: а в окнах — безглазое!

. . . . .

БАБУШКА, ТЕТЕЧКА, ДЯДЕЧКА.

Знаю бабусину бытопись!

В ма́рком, кето́новом кресле, в протертостях про́сидня, никнет бабуся в своем гнедочалом, ушастом чепце и жует всякоде́нщину: подорожала морква́, продавали мерзлятину; перкает словом:

— «Морква́-то!»

— «Мерзлятина!»

— «Щупаю я кочешок...».

— «Принесла́, а он—вонь!»

И досадливо дедерючит рукою мухры каџавейки-китайки своей желтобайковой; и, успокоенно чавкая, снова марьяжит атласною мастью: марьяжи не сходятся:

— «Девка и есть!»

— «И такою останется».

Тут мелконосо уставится в гиль. И меня приведут,—и моточек наденет на руки:

— «Ты, так бы, малёк,—свои ручки держал!»

И мотает шершавый моток; разбухает бабусина бытопись быстро; я—просто моток; закусалося сзади; диван то—блохач; пухопёрая бабушка волос седой из ноздрей вывивает; и пушная вата клочится из правого уха; косится она окровавленным взглядом, бася, точно козлище; шлепает в пол чернокан; и часы закипают увесистым шипом; и мѐртвелью пахнет, варáкает подо мною пружина.

Остынет в мерзлятине все: морозновáто!

Бабуся сидит тут неделю; воскрéсником ходит к обедне в таком старомодном «мантóне» и в бóристой шляпе, с «мармóтками» (шляпы такие не носят); ворочается: остывает в мерзлятине, заболевая мозжухой в костях и встречаясь всемесячно с Марьею-Иродовной, с лихорадкою.

На окошке стоит мелколапчатый цветик, плеснея давно; за окошком—мокрель; вольноплясы снежинок—мелькают, мельтешут; приходит—зеваш: разеваю я ротик.

Вот—тетя—со службы: безбёдрая, мелколобая тётя—со взмутчивой мыслью:

— «Марьяжи—не вышли!»

— «Такою останешься!»

Тетя сидит у окна, малоплечая, палочка; на пустоличии пусто стоят перепорхи ресничек; она—в самодушии; молча таит непросветности; спросишь—дивится; и—губки надует; уставится в пустолёты пылиночек, в копоти потолочка, оцепенела из сумерок бледнью безглазого личика; маленький носик понюхает очень немысленно, втянет в себя запах каши, большим подбородком подвигает и—перетянется под потолок чернотою худеющих линий; она—пустоглазая; карие глазки для виду; как две посторóнних наклейки они; перелётная моль перепорхом ей сядет под лобик, краплёный кудряшками; скажется тут—перетрясом головки:

— «У Лизы есть новый канаус на платье».

— «А ну!»

— «Не скажите: за тарлатановой скатертью, там у Летаевых...».

— «Шла бы к Летаевым!»

И бабуся в сердцах оторвет обормотку от кофты; но тетя на зло ей под носом—начнет мимоход и увидит себя миловидой из зеркала, замолодуется и запевает:

— «Ла-ла... Ветерочек...».

— «Ла-ла!»

— «Чуть-чуть дышит!»

— «Ла-ла... Ветерочек... Ла-ла!..»

— «Не колышет!»

— «Ла-ла!»

Баба ей мокрогубо:

— «Эй, ты, завертушка: небось измозолишь и зеркало собственной милой персоной!»

Ей тетя на это:

— «Я—жить хочу!»

Тете пеняют:

— «Ты—гордая девушка!»

Гонит она от себя женихов; но—ей хочется жить; вот Петр Савич: жених-женихом; и вдовец, и простец; он ведь пробовал: силился-силился-силился; и получил только «фырки»:

— «Вы обратите внимание» — отщебечит смехучая мамочка, тонкий и стройный вьюнок, «обратите внимание: Дотя!»

— «У всякого есть на столе чей-нибудь да портрет... у кого—жениха, у кого—обожателя, а у кого, у кого»—и поймавшись на зеркале, оцепенеет и смотрит на собственный выгибень стана, такая какая то вся, белошея, атласная, в колаитовом ожерелье; и пробует золотулину волосочесного гребня (не выпадет ли)...

— «У кого... у кого... Да, что я: у нее же, у Доти, свой собственный, Дотин портрет на столе: ха-ха-ха!»

Отзывается папа на это:

— «Да, знаете: кто ни приблизится—«фырк!..».

Мама—тонкий и стройный вьюнок, росту среднего, стянутый крепким корсетом и снизу поддутый турнюром; в своей гелиотроповой юбочке, в басочке ярких атласов (тот цвет «масака́» я любил), на которой резвятся и прыгают ягодки голубоватого коланта,—вiется, как угорь, когда весела; тетя Дотя, безлобою, очень высокою палочкой ходит за нею: безгрудая, плоская; мама ощупает—все там дощечкой:

— «Да ты—без корсета?»

Зазеркает глазками, и залукавят две ямочки щечек:

— «Ну, как же Петр Саввич?»

А тетя Дотя брезгливо закроет рукою закрытую грудь:

— «Ах, оставьте вы!»

Мамочка в мочки просунет висюли «слезинки»: и гранная блескочь закапает с синего светоча зеленоватыми смыслами в красные страсти; а тетя—не капает; мамочка блесковой звездочкой перемеркает и росненькой веточкой перекачается; тетя протянута в скорбном решении:—

— перемогать телеграфную службу!

. . . . .

Приходит кисли́цею; и набивает оскомину; и начинает твердить Генриэтте Мартыновне о всему дому известных событиях нашей квартиры:

— «У вас был вчера поросенок...».

— «У Лизы теперь платье «крэм», платье «прюн».

— «Лиза едет на бал».

Генриэтта Мартыновна, немочка, с очень хорошеньким личиком, белым, как мел, с беложелтой косою, безвекая, бледнобезгубая невыразительно выставит ей малокровные десна:

— «Прюн», «крем...»

— «Да, да...»

— «Gewiss!»

— «Selbstverständig...»

— «А «масака» вы забыли...»

Тут тетечка из пустолета своих переморгов посмотрит на немочку:

— «Нет—не забыла: но «масака»—только баска...»

И обе свернут безответственно носики к зеркалу, чтобы... подглядывать профили.

Говорит исключительно тетя о маме,—словами, принадлежащими маме и обращенными к маме, передавая скучающей маме уже пережитое мамою—маме:

— «А у тебя платье крэм!»

— «Масака не забыла я...»

— «Был поросенок у вас за столо́м...»

Мама ей:

— «Что ж из этого?»

И принимается петь она:

— «Ла-ла-ла... Ветерочек... Ла-ла... Чуть-чуть дышит... Ла-ла... Не колышет...»

И тетя ей вторит:

— «Ла-ля... Не колышет...»

. . . . . .

Я помню:—

— белеет, бледнеет; и бледно сереет; и серо замглеет; пепли́т:—

— оловянные се́рени морготнею морочат, а мамочка, выпучив бюст из атласа, возвысивши пышность грудей, протурнюрит обтянутой юбкой с канаусовой подкладкою—

— варнака, вертлява!—

— пред тетею сядет и пышный турнюр загибается тотчас же на́-бок; я вижу— не в духе она: тете Доте достанется:

— «Да, Михайл наш Васильевич—редкий, да-да, удивительный; он—благодетель!»

А тетя—безгласит, почуяв засаду:

— «Ты что?»

Тетя Дотя начнет рисовать очень внешне на бледно-белясом лице, точно углем на белой бумаге, легчайше стираемый тонкий налет облетающей пыли,—свои выраженья:

— «Да, да, Михайл наш Васильевич, редкий, да-да: удивительный.

Мама на это—с насмешкой, с припорхом, с настойчивой вертлостью:

— «Светлая личность!»

И тетя моргнет пустоличием в стекла: и тетя дадакает:

— «Светлая личность!»

В окошке пойдут ветромахи; а мама—бывало:

— «Ты—говоришь то же самое... Я говорю: Михаил наш Васильич — такое явление, что...» Мама взгу́бится, ноздри ее злопыхают досадой на тетю; вот стала пред зеркалом—взавёрт...

И тетя ело́зает глазками в окна:

— «Да, я говорю то же самое: это такое явление, что»—а за стеклами—там, где туман, висене́ц оловянный, упал перепорхом снежинок, сварившихся в капельки,—се́янец-дождик пошел: моргасинник! Уже с желобов-водохлебов вирухает водная таль:

— «Это—сила!»

И тетя старается вызернить мнение:

— «Я говорю то же самое: сила!»

— «И вы ей обязаны!»

Тетечка дернется лобиком в малых кудряшках:

— «Обязаны!»

— «Вы—существуете им!»

— «Существуем!»

Тут мама не выдержит: и оправляя тончайшую выторочь лифа, она мелюзит:

— «Что ты, право, какой-то дергач: задергушишь—чужое!»

И тетя старается:

— «А у тебя платье прюн, платье крэм...»

— «Я всегда говорю: ты всегда говоришь...»

Мама едко давнет подбородочком:

— «Да говорю это—я: а что ты говоришь? Ты—долдонишь, долдонишь мое, то же самое, как дроботунья!..»

Но тетя долдонит с достоинством (гордая девушка!)

— «Это мои же слова: я всегда говорю то же самое... И не могу говорить я иного,—того, чего нет у меня в голове...»

— Говоришь только то, что услышишь!..

У тети глазенки—«мокрели»:

— «Нет, я говорю, что услышу: и я утверждаю всегда, что твой муж удивительный, нравственный человек; и ты всем им обязана!»

— «Как, что такое?»

— «Да, да: всем обязана; и без него ничего бы себе не смогла ты нашить!»

Мама глазками тетю минует и закричит в пульверизатор; и схватит за шарик его и отбросит:

— «Ай, ай! Что ты вракаешь, врачка! Приходишь, вилякаешь, точно лиса; а потом нагадючишь! Сперва заведи себе жизнь, а потом и ходи... Досиделась до девки!.. Петр Саввич—да, да: не дурак!»

И—безбокая тетя—домой: нюхать запахи каши!

И бело бледнеет;
и бледно сереет; и
серо замглеет; и мгла
пепелеет; за окнами—осла-
бевают карнизы домов в еле видные вы-
чертни бегло слабеющих линий, стираемых
с черной доски, точно еле прочерченный мел; тут
поблеклая бабушка в просидне старого кресла опять ковыряет косынку двумя костяными крючками в сереющем крапе обой; и больная рука опухает совсем фиолетовой жилкой; уж склянная лампа стро-

жайше висит в омутнении; бабушка сложит работу; огонь папиросы ее, точно глаз ягуара,—наставится.

— «А ну чего ты вернулась так рано: ну что у Летаевых?»

И—в папиросу зубами; и глаз красноярый нам отсветом огненным выведет злое лицо из «ничто»; и потом оно—скроется: тетя бебенит.

— «А я, вот: несчастная».

Глаз ягуара откроется.

— «Ну завела свои дуды: пилишь и свербишь про несчастную жизнь»—забасит темный угол под бабушку: бабушкой; а из другого угла раздается под тетю:

— «Да, вам хорошо: вы вот прожили, можно сказать, состояния наши... Я—жить хочу!..»

И предметы летят в безживо́тье, в бездо́нник: становятся морочнем но́чи—

— ночами стоят безобойные стены; ночами приходят безглазые люди; смотрю: —

— тетя Дотя без глаз: лишь две впадины в сумерках странно чернеют: боюсь, что во мраке ночном подменяются людям глаза: кто добреет на свете глазами, как знать: безысходною злобою смотрит из мрака; вот—бабушка: —

— можно сказать, прожила состояние мамы и тети; так вот: тетя Дотя—ходила в постельку, когда была маленькой; нынче же хочет все «жить»—без мужчины: и ставит на столике собственный, Дотин портрет!

Чуть мизикает лампа-кривуля своим керосиновым пламенем...

. . . . . .

Помню я с бабушкой, с тетей у бабушки мы; злобно смотрится бабушка суриком глазок; а тетя, надевши немаркое платье, вражби́т; и приходит со службы худой дядя-Вася.

Он—бя́кала-мямля, каурый, двубакий кашлюн, в куреслепе веснушек, раскроет свой рот желтозубый; покажет кадык, расклоко́чится ба́рдами; глазом—на тётю; и глазом—на бабушку.

— «Хе-хе: мамаша!»

И тетя—на бабушку: оба они уже знают, что знают.

— «Мамаша!»

«Мамаша» и есть (образуется словом «мамаша» какое то ихнее»), петухоперая бабушка вся растопорщится: глазом она бедоглазит—на тетю, на дядю.

И дядя — пройдет!

. . . . . .

Дядя Вася имеет: кокарду, усердную службу, жетон; он — представлен к медальке; но — клёкнет; и — ке́ркает кашлем; пять лет обивает пороги Казенной Палаты.

А — чем? Если войлоком — просто, а камнем — не просто; за мазаным столиком горбится он в три погибели — с очень разборчивым почерком: —

— Как это так? В три погибели? —

— Думаю я о погибелях этих: —

— Мне жаль

Дядю Васю; он — бу́нит: согнется, — наверно его голова упадет на паркет, и он баками будет
мести; а, быть может,
согнутие в эти
погибели
хуже —

— согнувшийся голову всунет под ноги: зубами вытаскивать собственные носовые платки — из за фалды! —

И —

— ах! —

— его комнатка: холодно! Бабушка войлоком зимами дверь обивает, чтоб ноги себе защитить от мороза.

— «И — просто нет мочи!»

— «В Васильевой комнате» —

— бабушка это «в Васильевой комнате» произносит с такою глубокою злобой, как будто в «Васи́льевой комнате» кто-то виновен: виновен — «Василий!»

— «В Васильевой комнате — лютый морозище!»

— «Да уж нельзя сказать, да уж — Василий.. »

Нельзя сказать—знаю: нельзя сказать—что? Чтоб «Василий»? А что—«чтоб Василий?» Но—знаю: «Василий». Товарищ, Летков называет его беданюхой.

Василью вменяется бабушкой «все», что угодно: что под-ноги дует, что дух идет терпкий оттуда и каши, и клея, что мухами там иззернён протлевающий лист приложенья, что много кривого картона, прикрытого прессом; что в дядином катарральном составе подъемлется урч.

Вот вернувшися с «третьей погибели», дядя засядет: себя упражнять в переплётном искусстве: и бу́нит, бунчи́т себе под-нос.

— «Да, да!»

— «Ремесло!»

— «Вещь—полезная!»

Это все—папочка: их поставщик! И—портной, и—садовник порывов; ему благодарно семейство за то, что его одаряют советами, лаской, деньгой и продуктами.

— «Вот—шерстяная материя: Доте на платье; она—неизносная; лучше она прошлогодней.»

И—знаю: материя этого года всегда—неизносней и лучше материи прошлого года; я думаю: если такие подарки продолжатся из году в год,—то наверное, лет через двадцать придется дарить тете Доте парчу, потому что иные материи (те, что похуже) наверное все передарены будут.

— «Не благодари меня: это—Михаил Васильевич!»

Папа—даритель, хранитель, целитель; и—вечный советчик: рекомендует он дядечке скучный досуг превратить в ремесло.

— «Да, да, ремесло—вещь полезная...»

— «Видите-ли: отвлекает оно от навязчивых мыслей!»

— «Как, эдак захочется вам,—вы, Василий Егорыч, возьмите-ка... Переплетите-ка мне в библиотеку «Математический Вестник»...

— «Вам—заработок, мне же—польза: годов восемнадцать могу вам отдать в переплет.»

Дядя силится стать переплетчиком, но—бесогон он какой то.

Так: после занятия над калабашкою каши сидит с громким «иком»; в тиснёную кожу попробует он заключить что-нибудь» не идет.

— «Морозновато!»

— «Брр-брр!»

И пойдет согреваться по комнатам.

Вот он подумает, что—милован; и собою мило́шится в зеркале; ногу отставит, и барды расправит.

— «А чем не мозгай?»

Постоит мигачо́м; и кадык у него—скакуном; перева́ртится фертиком; и черным чо́ботом чокнет по чоботу.

— «Ишь-ты: подишь-ты!»

И—пустится он выкаблучивать перед бабусей: бабуся—козлом на него.

— «Ну, чего ты?»

— «Морква то, небось, стоит дорого!»

— «Ты то чего дедерючишь?»

— «Капусты купила, варила, варила: мерзлятина!»

— «Вонь!»

Дядя Вася опомнится, крякает:

— «Морозновато!»

— «Брр-брр!»

И—к себе: навестить «Храповицких»...

И вскоре уже посылает пронзительный всхрап от мороженной стенки, с трехногой постели, безбрюхий, мозглявый комар, переломленный на-двое, с бакой, прижатой к подушке, открывши свой рот и желтея веснушкой; какой малодошлый работник! Коньевое одеяльце серо; а по серому полю поют петухи, перетёртые многим лежаньем; на гвоздике—шапка с кокардой; и—скрипка; мурлышка сидит под геранью; такого же цвета обои; темней—пятна сырости; где уголок обметает морозом,—снежиночки хладно снимаются пальцами.

Так он живет: прилежа́ка какая то!

Ходит отсюда обедать—к нам, в праздник; коснеет; при спорах в его голове—мозголом; он сидит—мозготрясом; перекатает все ломтики; съест; остолбенело смеется; и—хлопает веками; пробует изредка он буторахнуться мыслями; и—потнолобый от этих усилий, совсем не мозганит.

— «Да, да!»

— «Ремесло!

— «Вещь полезная!

— «Вещь!»

— «Ремесло».

И—опять забезгласит.

Приходит с ним тетечка.

— «Ну, как у вас...»

— «Ах: «мамаша!»

Сидит подпирая подпертой рукою (другою)—головку; моргает в таком положении: палочкой, палочкой грудь; так безбёдро привстанет, безбедро пройдется к окну.

— «Телеграф!»

— «Надоел!»

. . . . . .

Дяди-Васина драная жизнь — пополам; признаю половину одну: —

— дядя Вася безженый, безбабый, и как говорят—не «мозгай», но крепчающий задним умом, мозгопятый, но все же с достоинством, скромно сидит, защипнувши рукой бакенбарду, закутанный белой салфеткой и ширит глаза в разговор, —

— а другою рукою катает он мякиш-алякиш; и папа к нему прислоняется мнением, булгатнéю своею:

— «Я вам говорю: вы, Василий Егорович», бородатит в крахмал он:

— «Вы, прямо скажу вам»...

— «Оставили б это!

И открывается этим другая, «своя» половина разорванной дядиной жизни: —

— где дядя, такой притихайка,
блекáвый, минающий мякиш в алякуши и доверяющий всяким словам —

— появляется перед нами— другой: объедающий бабушку, очень крикливый керкун, голосящий на всех:

— «Вы то все хороши: водохряки!»

Он громко бахорит, зюзюкнув рябиновки; глупый бобич, костыляет по полу, бунчит себе под-нос, кабачит:

— «Эй, вы водохряки!»

И примется в пляс подкаблучивать он коловертом—подпертым.

Да, я, Васька Пазухóв —

Дую ром без лишних слов!

Да и бабнéт непристойность, осклабится весь и покажет «лалаки свои (это, знаю я, дёсны: так бабушка, их называет), гогочет-кокочет, заперкает, выпустит лётное слово; и—сгинет дня на три; и бабушка скажет.

— «Уж говорю вам добабится он до беды!»

Раз она появилась; и стала бубанить, бубенить; и—бутетéнь подымался по этому поводу.

— «Что вы?»

— «Опять?

Ерепенилась бабушка.

— «Что бы вы там ни сказали, а он—скандалист, этот самый Василий Егорович ваш!»

Заслонялась руками от носа, которым старался наш папа ей въехать в лицо меж ладонями, и объявила: «Запой!» думал: это наверно расстройство желудочка, с громким скандалом: ему бы куриного супца; открылося мне из бабусиных слов.

— «Он—бузыга!»

А что есть «бузыга»? У Даля—найдешь, а в головке—сыщи-ка!—Опять:—

—понимание, девочка в беленьком платьице, пляшет; и темные няни приходят бормочущим роем: ужасно невнятно, но—страшно занятно!

. . . . . .

И мама играет:—

— снялось, понеслось; запорхали события жизни в безбытии звуков; опять заходил по годам кто-то длинный; то—дядя; он встал на худые ходули; на ноги; уходит от нас—на всегда по белеющим крышам: уходит на небо; и принимается с неба на нас брекотать.—Да «устал я сгибаться в своих трех погибелях»: будет!

— «Устал обивать я пороги Казенной Палаты!

— «Вот—войлок, вот—камни: пускай обивают другие.

— «Устал от ремёсл: не полезная вещь ремесло!..

— «Ухожу я от вас!»

. . . .

— «Дядя, дядечка—милый: и я...»

. . . .

Мама бре́нькает ручкой по клавишам; и булгатня́ подымается звуками; стала она такой маленькой, миленькой; выставит шейку; и—точно робея, проходит по звукам—на цыпочках: девочкой; и—самородною родинкой склонится; превыразительно звуки она переводит глазами, которые с низу страницы, как прыгнут наверх: на крючо́чек, на ноту:—

—и я ухожу в эту жизнь; и

—как есть ничего, эта жизнь; его

—комнатка! Холодно: бабушка

дверь обивает, чтоб ноги
себе защитить и —

. . . .

Ах!

Временно время,—но бременно время; бормочет отданными днями; и—раздается нам—в уши, нам—в души!

РУЛАДА.

А мамочка так же звучит, как рулада; рояль принимается мне выговаривать звуки ее.

Мама сядет наигрывать; руки льют звуки; рулада течет, руколивною трелью запенясь о клавиш, обрызнувши душу мою дишкантом: в пропасть падает сосредоточенный бас, тяготеющий весом: поверхности клавишей зычно расстались на гребни, моргая диэзами; море морочит.

То — мама: опять принялась выговаривать; яркает грацией, яркой градацией, жестикуляцией гаммы: от птичьего пенья до... взвизга, до... тигра; лимонным цветком нежно пахнет; дивуется взлетными бровками: глазки — Анютины.

Нежно она произносит шаги своим шелковым шопотом, ярко живея духами, надев ярко розовый свой казакин, обвисающий кремовым кружевом, звонко воскликнувши связкой ключей — произносит шаги по ковру: к шифоньеру, где ясною массой атласа отплющились платья, где пучится этот турнюр —

— находимый под юбками —

— даже, я знаю, у немочки есть та подушечка; знаю, такую подушечку ловко подвяжут, где надо, чтоб быть полнобокой. —

— Вращая боками и прыгая родинкой, мама проходит с турнюром в руках, мимоходом бросаясь глазами в окошко.

Закат, как лимонный цветок, нежно пахнет: настоем цветов; парфюмерией полнятся комнаты.

. . . . . .

Хлынет из прошлого в душу ее переливчатый образ.

«Добро,» или «зло» — только пена пучины того, своего, что есть в каждом; «свое» раскричалося в маме фантазией пальм и болтливым бабьём баобабов, в котором открылся фонтан разноцвет-

ных колибри, топтались слоны и воняли гиены: зоологический сад, а не мамочка; Индия, а не профессорский круг девяностых годов, не Арбат; только старый китаец, мой папа, сумел претворить этот круг в философию «Тао» Лао-Дзы, советуя видеть грудастых профессорш не бабами, парками, а надоедливых мух переделать в «занятные, знаете, очень машинки.»

Профессорши, — даже не мухи; Бобынин профессор не глуп; но... себя посадите меж ними: тропический лес обернется в болтливую скуку ученых нечесаных баб, поживших когда то мужей на «своих» убежденьях; —

— профессорши маму не любят: ее провожают они криворотою злобой; для них она — девочка: и — понароют кругом волчьи ямы обычаев: мамочку ловят в обычай профессорской жизни: на кухне ушами повисли сухие грибы: Малиновская — слушает; стены — ушаты...

— «Так, да, дорогая моя»!..

— «Почему это, — да?»

— «Почему это вы не бываете в обществе трезвости, да...

— «Все мы, так, там бываем!»

— «И Софья Змиевна, и Анна Горгоновна с Анной Оскаловной».

Змеи, горгоны, оскалы мерещутся мне: очень страшен «оскал» — криворотая злоба профессорш: —

— я видел картиночку; красную лиску, которую травят собаками; где-то разлаялось все это: мамочка, лиска, оскалилась крепко на это: —

— профессорш боялся: —

— особенно той, Докторовской; да, да, у нее очень толстое то, на что все надевают турнюр; все, бывало, бабакает с тем, кто развел реферат, бременел диссертацией; и подставляет тому, кто еще не орал рефератов, претолстое то, что собой представляет турнюр; подставляет и мамочке, кроя ей глазки ледками; —

— а ветхие крысы Слепцовы из норочек выставят носики: нюхать ее красоту и выпискивать вслух, что — нет, нет: не красива она, что ей надо бы косы обстричь; огорчается писками: глазки — ледяные омутни; мерзнут; —

— и пустят потом по щекам бисеринку: в платочек; растаяли: бабочкой вновь залетали по пальмам: запахло весною; и — белой болоночкой, Альмочкой, чесаной гребешечком с пробором на лобике; весело севши

в качалочку шелковым шопотом, ножку на ножку подкинула: красная туфелька очень игриво свисает с носочка —

— зацапкала Альмочка лапками по-полу, — хвостиком в воздух: гам-гам; а носочек вращается маленьким пальчиком, точно гусиная мордочка: красная туфелька шлепнула на-пол; болоночка — пустится бегать кругами, как заяц, схвативши зубами, как лакомство, туфельку; я же, сбиваясь в карачки, комочком переползаю под ножку, как Альмочка; мамочка, ярко цветя самодушием, косу свою перекинет, смеется:

— «Глядите!»

— «Ловите!»

— «Держите!»

— «Кривляется Котик!»

Слетает с качалки, защелкав в ладони.

И — гонит; обхватит, катаясь со мной по ковру, волосатится гре́бнями виснущих кос надо мной; вижу — в ямочке шейной, под кожей, задвигалась мышка; головкою прямо да в юбочку маме, в сплошной шелестинник ее крэп-де-шиневый; и — приподымет подол моего темносинего платьица: громко подшлепает там, где положено шлепать: пускай себе шлепает, это — такая игра между нами!

. . . . . .

Вздыхала, что стану, как мушка, «занятной машинкою», сложенной папочкой.

Грезился ей — молодой человек, математик, внимающий разговорам о «модулях,» предпочитающий их яркой силе, в ней бьющей, не слышащий музыки и очконосый —

— нельзя Тинторетто повесить бо́к-о́-бок с фламандскими зайцами, или с фламандскою, пусть добродетельной тучной и красной кухаркой в перекрахмаленном чепчике; папа — подвесил; ландшафт итальянский к ландшафту... ученой кухарки: —

— к профессорше Кисленко — маму! —

— И мама дрожала, боясь, что калечат меня, облекая меня в выходной сюртучек из науки.

Спросили бы папу:

А что заказать нам Коту?

Он ответил-бы;

— «Что же-с?»

— «Купите ему котелочек!»

— «Да, да!»

— «Закажите ему сюртучечек!»

Мне мог бы, наверное, он поднести к именинам футляр для очков.

Он все силился мне объяснить проявления жизни сложеньем стремительных сил с центробежными; этот подарок подобен «футляру». Я выглядел в силах, как в сильных очках, — очень хило; дудил он:

— «В том сила!»

— «Вот сила!»

— «Не в этом же сила!»

Но — что же есть с и л а?»

И — «с и л а» откликнулась образом Силы (Силантия), сыном Ерша (то есть, дяди Ерша). Этот — выглядел «х и л о»; и — умер; и — думалось мне:

— «Да не в этом же сила!»

— «В том сила, что «с и л а» — Силантий!» А этот Силантий — хилел да хилел; если-б по́нял я «с и л ы», то — стал бы я хилый; и умер бы я, не достигнувши «с и л ы».

И все говорили весьма укоризненно папе:

— «Оставьте: еще преждевременно он разовьется, да и умрет, как ваш Сила».

— «А вы!»

. . . . . .

И — бывало —

— руладой раскатятся хилые силы, как нитка хруста́линок по-полу; ноты на гамму нанижутся так, как на нитку хрусталинки: —

— из бурелома трезвучий, гонимого где-то, звездеюще выблестит тонкая нота; другая звездеет из первой, дробимая трелями дишкантового о́зерца в выливень ясных мушинок; у берега: зреют по черненьким косточкам блески от маминых пальчиков; и — заколотятся снова в утесистый бас, выбухающий в бездну и бьющий созвучно лежащее в визги; и — дзя́ною радостью вымоет, шипною пеной покроются камни аккордов; и — застится четкость руладного контура дымкой педали; раздастся: —

— между дишкантами и басом —

— страдающий, человеческий голос, и —

— давится басом; и —

гибнет бесследно; я — плачу: какие-то вихри поднимутся выхватом, как светолапое пламя, из грудки: —

— ввиваясь в пространство и в быстрень событий; охватит пространство: пространством безбытий; —

— пространства разъялись в нестои: составом дневным; где густела лиловая ночь,—выпрозрачнилось утро; расстрелами ясности резалась ярко материя ночи; прошла неизвестность: синеет окрестность, чтоб стать голубою, дневною волною, —

— то мама, играя, опять удивляется взлетными бровками; венчик витушек танцует на лобике; капелькой пота объяснился носик; и —

— ах! —

— заробевши, проходит по звукам, — на ципочках: девочкой! И — самородною родинкой немо взирает мне в душу; совсем изумрудится глазками; с низу страницы, как прыгнут на верх, — на крючочек, на ноту она.

Постою, посмотрю: полюблю!

Это — яд; это — сладостный яд Возрождения, где выступают поступком, взирают решением, любят и губят без правила; в звуках; совсем не моральная жизнь — музыкальная:

— «Котик мой!»

— «Сила — не в этом, а в том, что...»

— «Нет с и л!»

Только пчелки, летящие с маминых губок медочком — сластят; а порою и жалят: закон основания — где? Папа этот закон применяет к себе: заведет молодого, очкастого юношу, — на основании строгих, проверочных испытаний ведет к доцентуре; а мамочка скажется выблеском:

— «Да: он — чинуша!»

— «Воняет трухою!»

— «Обманетесь...»

Лет через двадцать былой м о л о д о й ч е л о в е к — попечитель учебного Округа: стонет весь Округ!

Права то ведь мамочка: без оснований!

. . . . . .

Люблю прохудевшее личико с гордою родинкой, с носиком, тонким, точеным, и с — розовой щечкой; и ротик, немного обиженный, сложенный, точно цветок, — росянеет перловыми, ровными зубками; ямочкой, еле заметной, игрив подбородок; и лобик, не

рослый, себя объясняет бегучими дугами перелетающих, соболиных бровей, подымающих дуги морщинок, а то приседающих к полуизогнутым черным ресницам анютиных глазок, доверчивых, или обиженных и подозрительно зорких, как пьявочки—

— так и вопьются!

Обидится:—

— ротиком, ставшим совсем червячонком!

Смеется:—

— и явятся ямки!—

— Поднимется пухлая губка; и—видятся—зубки... Прищурятся глазки, махнувши фатою ресниц и проглядно метнувши две искорки; склонится на-бок головка; осыплется гущей каштановых пышных волос;—

— и—

— такою московской красавицей мамочка станет: с картины Маковского: «Свадебный пир»!—

— В этой позе невесты собой залюбуется в зеркале!

Папа носатится кряжистым гномом (скрипит половица), похлопать по плечику; мама ему покорится, едва розовея улыбкой, милующей нас, нашу жизнь и летящей навстречу какому-то бывшему опыту, после которого — стоит ли жить, без которого — стоит ли верить? Улыбка, несчастная, длится секундочку;—

— явно

другою улыбкой, скрывающей первую, с папой снесется; а первая—сядет куда-то: совсем в уголочек.—

— Вторая

есть речка домашних забот.

Папа эту улыбку заметит, а первой—не видит; и—продолжает потрепывать маму по плечику:

— «Вот: я купила—две скатерти!»

— «Вот: посмотрите!»

И папа, не глядя, прихлопнет по плечику:

— «Так-с!»

— «Да не таксите, а посмотрите внимательно...»

— «Эта, вот, видите: вся—петухами; мне стоила...»

— «Эта, вот!»

Папа колотится мнением:

— «Так-с: превосходно—прекрасная... И—с петухами, и—стоит недорого».

И продолжает пощелкивать.

Папа сегодня постригся: смелеет—совсем небольшой бородой, ставшей вдвое колючее; шея от этого кажется толще; и более зверским лицо: ах, зачем он обстригся?

О, нет: никогда не поймут они верно друг друга, а я—понимаю уже; мама—точно «невеста» картины Маковского «Свадебный пир», ну, а папа, какой женишок? Стало быть?

Домышляю:—

— а домыслы—вещи опасные:—

— вещи вещают о том, как им быть в этом случае; вещие вещи понять, это—значит: отставить границы меж ними и мною; и заставляю—

— себя сознавать уже папою: мамы и папы; они не допустят во мне опрокинутость эту; отрезан от них в понимании очень опасных и вещих вещей; ухожу в немоту, преступаю черту;—

— и преступность моя—

откровение истины; без осознанья того, что оно,—откровение; не осознать правоты своих знаний—не значит ли: быть в преступлении;—

— да!—

— Грех преступности—робость!

. . . . . .

Уж слышал от мамы: на данном обеде Тургеневу маму с Салтановой так посадили, чтоб видел Тургенев красавиц: пред пышным букетом цветов; и Тургенев, надевши пэнснэ с широчайшею черною лентою,—маму разглядывал; папа, согретый шампанским, сказал лучше всех; и слабей Боборыкин, пустив пароходиком слово—вперед, и оставивши лодочкой мысль—позади,—

— Боборыкин,—

— который весь в желтом, которого называет «Петрушею» София Александровна... Боборыкина...—

— видел его я в Лугано в шестнадцатом, кажется (этого века); и он вспоминал:

— «Михаил-то Васильич, бывало!»

Да, да: Боборыкин советовал маме заняться с ним дикцией:

— «Я говорю вам!»

— «У вас очень много прекраснейших, артистических данных!»

— «О, русские женщины, русские женщины, не понимаю я вас; нет, как можно: хозяйство, и дети, и кухня, когда артистический мир—вам доступен!»

— «Я вам говорю...»

— «Вы послушайте: «П е т р Б о б о р ы к и н» сказал (его помню—высокий, вертлявый, весь в желтом, весь в пестром; к очкам приставляет лорнет; и нальется, и бьется багровыми жилами череп; и вскочет, и сядет; и схватится пальцами за завитушечку кресельной спинки), и мама, бывало, внимает: и—тянется к сцене.

Все яркое, чем я живу—это мама во мне; прожурчит разговором; и выпадут: рыбка златая, хрусталик и яркая тряпочка; я поднимаю хрусталик к лицу ее—ручкою прочь она; звонче рассказывать; очень рассеянно спутает мне волосенки, браслеткой заденет по носику: пахнет весною—лугами: прозябли рассказы о мамином детстве; букетики цветиков ставит она перед нами:—

— да, Звездочкой звали ее: эта девочка, Звездочка, вышла из маминых глазок; она, как и я; она—девочка, Звездочка; мы побежали на луг: людоедное время погонится—

— помню: она говорит, как на сцене; значительно смеряет взглядом и палец приложит к губам:

— «А вы знаете что?»

Прозвучит это «знаете что» на всю комнату; я побросаю паяца, переползаю на коврик, сижу под коленками, ротик раскрою—на то, как разжалась на стол локоточком изгибная ручка сверкающе—желтоливным бериллом; она—словодар; Генриэтта Мартыновна, та,—словоём; мама действует мимикой: —

— ручки расставит: направо-налево; и—тешится песней:

— О, мой Пиппо́, все та-же я,
И так же все люблю тебя—

— и я брошусь кричать:

— «А теперь—тараканов!»

Она же:

— «Да, где тараканов так много,
«О, да: где их много,—
«Там в доме есть бла-годать:
«Бла-го-дать!»

Знаю я, что—Маскóтт: Зорина (в оперетке Лентовского): ходит Лентовский в поддевке; Пиппо—был Огнев, Роман Яклич, теперь поступивший в Мариинский театр, очертевший в страстях Мефистофеля вместо Кондратьева и умоляющий Поликсену Борисовну в арии Демона взять его руку и сердце; она несогласна; но, но—называя Огнева «Ромашей»—ему отвечает:—

— и мамочка тут облизнется, согнется головкою, и исподлобья повыпрыгнет глазками, как Поликсена Борисовна:

— «Ты бы, Ромаша, поехал с визитом к Направнику?»

После:—

— оскалится ротиком, и—

очертеет глазами; я слышу:—

— как длинный «Ромаша», оскаливши зубы, басит во весь рот:

— «Чорт возьми!»

— «Не поеду!»

Боится Направника он: оттого и не едет; ему говорят:

— «Ах, Ромаша, Ромаша: поехал бы ты...»

— Это все разговоры о том, как жила в Петербурге, у Поликсены Борисовны Блещенской, мамочка: около Мойки; персона из царской фамилии к чаю приехала: дикий Ромаша сидел за альковом, не смея сморкнуться;—

— в кольцо бирюзовое смотрит; и—собирается с новою мыслью; из левой руки, от колена, завьет папироска кудрявую струйку (да, мамочка стала прикуривать что-то); пройдется улыбка — та, первая:

— «Ах...»

— «Петербург!..»

Говорит это все для себя «самое»: хочет высказать вслух: ей поется; все—до-нельзя ярко; и до-нельзя все мне понятно, как... музыка; что вот,—не знаю; глаза закрываю,—лицом к крэп-де-шиновой кофточке; ручку положит ко мне на головку, играя рассеянно локоном: смотрится в локон: теперь с разгасившимся вовсе лицом переживает сама она это все...—

— восклицающим высвистом дзанкая в стекла снегами,—порывы, за стеклами, там: затянули прозоры... за стеклами; снова Арбат овивается беловенечной фатою: за стеклами; кто-то в трубе принялся выборматывать—то же:

— «О, Боже!»

Как будто рассказывать—то же:

— «О, Боже!»

В трубе принялся выборматывать кто-то: про что-то. Вдруг—

— треснуло: пол оседает:—

— обстриженный папа, давно привлеченный рассказами, тяжко дубасит стопой, заложив за спиной две руки с разрезалкой и выдавив полный живот, оседает большой головою, зашлепнутой в спину; рассеянно встал перед зеркалом, точно не видя себя; увидавши себя пред собой, он впился очень зверски подстригом бородки, поставив два пальца себе под очки; и—не мог оторваться, не мог оторваться,—от маминых громких речей («Петербург, Петербург!»), иль от дикого, скифского лика, с обстриженной зверски бородкою;—

— мама опять растворяется словом, как рядом картонок своих, из которых она вынимает пернатые шляпы; тут папа не выдержит; очень спешащие глазки забегали мушками; пальцы—дергунчики; жила на шее набухла:

— «Оставь», поднимает на мамочку мелкие глазки—две точечки, два острия карандашика (эти спешащие глазки меня беспокоят!)—«Оставь: Петербург это—немцы».

Но мамочка, стиснувши губки, закинувши ногу на ногу, шелкну́ла ошептами юбки; и—прыгает очень значительно ножка носочком; и, как карандашики, папа слова очиняет и эдак, и так, в острие своей мысли: дезенфицирует мнения:

— «Это все, Лизанька,—дрянь: мишура, немчура; это нам ни к чему, это нам не к лицу!»

Потянуло опять его к зеркалу (вот он какой после стрижки! Он стал—совершеннейшим скифом): и гладит лицо полнотелой рукой, повернувшись, стараясь увидеть свой профиль; и—снова отшаркал от зеркала в гущу вопросов:

— «Какая же это там жизнь? Поликсены Борисовны этой? Певцы, лоботрясы, гусары... И в эдаком обществе, ты, мой Лизок,—не скучала?!? Не понимаю я это!»

Какой-то слепе́нь: и не видит—у мамы лицо прохудело от скуки, и—кинулось прямо в глаза: перешло́ вдруг в глаза; и два глаза расширились и раскидались, и (ай!) обожгли препридирчиво все, что лежало пред ними; а папа уже собирается выставить армию доводов; перевернется на стуле; руками по воздуху рубит котлеты:

— «Москва, так сказать, есть естественный, русский наш центр,—всякой умственной, нравственной, литературной, общественной жизни...»—

— пройдет перевальцем на мощных, недлинных ногах; тупоносо стоит сапогом на паркете—«Москва есть коммерческий центр: она—узел железных дорог, выразитель провинции...»—

— Папа сильней ударяет словами...

А мама, закинувши ножку на ножку, запрыгала красным носочком язвительно:

— «Да, в Петербурге проспекты; по Невскому катит в коляске царица: поклоны—направо, поклоны—налево, а Яблочково освещение—блещет!..»

И быстро, быстрее—до бега на ципочках мечется по-полу папочка кряжистым спинником; вдруг он подшаркнет совсем саркастически (даже подпрыгнет, подшаркнув: и — взмах разрезалкою!)

— «Фу-ты. Принцесса Дагмара, — прошу извиненья — э, что там «к а т а е т с я»: ах — немчура, немчура!»

А уж мамины глазки становятся явно алмазными глазками; плачет; о ней не заботятся; жить ей в московской среде—невозможно никак: как профессор,—дурак, как профессорша—злюка-гадюка; и— глазками папу минует; и — обращается к ложке, пред нею лежащей: и схватит ее, и отбросит; а розовый ротик — сплошной колокольчик —

— эге: да он дудочка! —

— вот и пойдет, и пойдет: что уедет от папы, что папа — урод, каких мало, а мама красавица; смотрит больными глазами на нас:

— «Не расстройство чувствительных нервов — нет, нет: я — здорова...»

— «Я — вас!..»

— «Убирайтесь вы все!»

И — обводит нас всех с таким видом, что что ни скажи — ерунда: и она — всем покажет; зимующий рак вероятно ползет показать нам где раки зимуют; и — выставит родинку: —

— папа скрипит в кабинет половицей: дрожит пятипалой рукою над мухою, уцелевшей от лета; и — «ц а п»; ее ловит: —

— и муха сидит в кулаке; оторвется ее голова; то не муха, а — мама; не мама, а — мамины нервы...; вдруг — дернется:

быстро забегает, крепко прижавши к крахмалу сорочки кулак и оскаливши рот белым блеском зубов; а другою рукой на крутых поворотах —

— раз,
— раз,
— раз,
— раз,
— раз! —

—очень быстро ударит по воздуху; раз я его подсмотрел: он всклокочился; точно два глаза — огромных, багровых — ширели закатом сплошным кабинетные окна, багря косяки, рукомойник и стол: во всем красном — расхаживал папа, — о, нет, не расхаживал —

— бегал на ципочках, крепко прижавши к крахмалу сорочки всю челюсть, раз'ятую ртом с белым блеском зубов; будто он раскричался без голоса —

— руку одну прижимая к дышавшему боку; другою зажатой в кулак на крутых поворотах —

— раз, —
— раз, —
— раз, —
— раз, —
— раз, —

— бил по воздуху, точно проделывал он упражнение Мюллера; —

— беганье папочки, этот раскрытый кричащий на сумерки рот, подбородком прижатый к крахмалу щелкавшей сорочки; и —

— раз, —
— раз, —
— раз, —
— раз, —

— мне запомнились: выбежал я!..

. . . . .

Покричав и побегав с собою самим — у себя самого, — выходил он мириться: совсем успокоенный, даже какой то размякший (таким его видывал я приходящим из бани); усевшися в кресло, снимал облегченно очки: протирать очень весело; узкие плечи, покато упавши под очень большой головой, приносили повинную: голову

эту сожали с усилием два человека, сперва надорвавшись; сидела она как то так,—на боку...

. . . .

Мама тоже легко отходила; поплачет, и — рядится: на-вечер; плавною павой под зеркалом ходит; турнюр придает ей немного комический вид; и — ровняется: трэном, шумеющим шелковым кружевом; талия—рюмочкой; вверх поднимают достойные пышности очаровательным вырезом, пахнущим опопонаксом Пино, и слепительным от брилиянта, упавшего посередине, меж двух тельных складочек, с бархотки; точно Венера, горит на расцвете — пред солнцем, которое спрятано: ниже в корсаже; поклонники мамины, верно, гадают.

— «Взойдет?»

— «Не взойдет!»

И — стараются взором (как бы невзначай) проникать за черту горизонта: и — нет, не взойдет! Позаботилась мама: качается сколотый вырез росистою, розовой розой, когда она ходит натягивая перчатку до локтя и сметывая с перекру́ченной башней прически на пестрый ковер свою малую шпильку; оступится в трэне; схватив его ловкой рукою с подкинутой ножки, оплещет нас розовым шопотом шелка подкладки —

— какая подкладка у этого платья! Я в маминых платьях подкладки любил: ей бы вывернуть платья; лицом наизнанку, изнанки, бывало, кричат: канареечным, розовым, красным, —

— такая большая: стоит — церемонно; ни-ни — подойти: ни-ни-ни! А вернется бывало, и вот: расстегнется; корсаж упадет на Дуняшу, а юбки — одна за другой — упадут на ковер; и оттуда повыскочет мама ко мне, — голоручка́, худышка, в одних панталончиках, пышность оставив, — со мной егозить; это — после; теперь — ни-ни ни; церемонно стоит, церемонно проходит; —

— в окошке, где было главасто от туч, где стояли одни многолобые горы в черте горизонта,—безлобые плоскости; и — из за них, приседая, и нас посвещая коротким отходным лучом, опрозраченным ясно, по́д ним нисходя, — померцающий шар, красный шар, приседающий в землю: отсиживать ночь; —

— померцающий шар уложили в особый футляр с лакированной крышкой, обитой атласом внутри, как кольцо дорогое, — от Фаберже́, или Дейбеля, —

— грузно и бременно!..

Временно время; но — бременно время; бормочет — отдáнными днями; и — раздается: нам в уши, нам в души!..

. . . . .

Передняя —

— комнатка —

— малая: —

— желтооранжевой злобой глядели обои оттуда в мигающий свет керосиновой лампочки; вешалка, столик и стул: все — оранжево здесь; на оранжевом фоне кирпичною линией четко проходят: квадраты, квадраты; висит многогорбая вешалка; немо; три двери: в столовую, в кухню, в немой коридор; повисает, пылясь, занавеска на кухонной двери такого зеленого цвета, что больно глядеть, закрывая дверное стекло, чтоб не видели кухню; и сальный матрацик для Альмы, туда зарывающей кости и жир в расцарапанный лапами волос; —

— бывало: —

— в енотовой шубе и в котиковом колпаке залезал, громыхая в свой ботик, склоненный над Альмочкой папа: на желтооранжевом фоне обой, освещенных очками мигавшего пламени; Альмочка грызла жестокую желтую кость; и — кроваво косилась: а папа, наставив очки, говорил:

— «Это — правильное собачье занятие: чтенье газет!»

— «Эти кости, Дуняша, в собачьем быту — то же самое, что в человечьем газетное чтение».

— «Альмочка кость погрызет, и — все знает».

За папой спешила и мама, в ротонде и в маленькой плюшевой шапочке, с током (с огромным!); косясь на нее, он указывал пальцем, большим, — на матрацик:

— «А Альмочка, знаешь, — читает газеты!»

У мамы при этом известии прыгала родинка под вуалеткою (белою, с черными мушками); глазки туманятся, крылись ледками: она самодушием жала к полнеющей шее круглеющий свой подбородочек, важно надувшись; казалося: сделает:

— «Уф!»

Задевают ее, огорчают ее, эти шуточки папы; рукой опираясь на спину Дуняши, натягивавшей на нее меховой, мягкий ботик, как ножницами, расстригала молчание:

— «Пахнет опять!»

— «Пахнет псиной!»

— «Воняща:»

— «Я вам говорила, Дуняша, что надо матрацик проветрить: на снег его, снегом!»

И — дверь растворялась; и папа, туда, в темноту убегал, опустив нос в меха; убегала и мама за ним, опустив нос в меха; в двери веяло холодом: ворохом вывших времен; многоногие людогоны неслись по Арбату: —

— несутся событий негромкие громы в огромные мороки мертвого мрака: хромает часами усталое время; оно — хромоногое!

МАМОЧКА.

Знаю: мамочка наша больна!

Это часто у ней за спиной выговаривал папа. Я знаю, что ей занеможилось плачем, когда она села из Питера в спальный вагон, чтобы плакать о питерской жизни; изнемогала в профессорском круге она; —

— появилось больными глазами лицо ее в сумерках: —

— все, то: немотствует, голову свесив на грудь, перебросивши косы на грудь и — болеет размыслием; вдруг —

— приподнимется: —

— примется: перетирать безделушечки полотняною тряпкою; тут же, с бесцельным терением распространяется ропотом, возгласом, взвизгом, рассерженным носиком стоя пред папиной дверью: в ночной рубашенке — пред сном; и придирчиво смотрит не в дверь, а в... потопное прошлое, —

— в детство! —

— Откуда усеслась хозяйкою дома она среди стен Косяковского дома; я помню: —

— четвертый Зачатьевский переулок; отсюда привез ее папа в парадной карете, во фраке, с букетом цветов —

— и Максим Ковалевский, во фраке, с таким же букетом сидел против мамочки; мамочка, вспомнив про это, всегда заболеет глазами: поводит больными глазами: молчит бриллиантовым взглядом (от слез):

— «Я — вас: всех!.. Убирайтесь: пошли, пошли все...»

— «От меня... Ах, оставьте!

— «Оставьте — »

— «Меня! —

— Я не верю: —

— (ах, звездочка, белая блеском на кубовом небе белёсыми полднями —

— вся обезблещена)! —

— Полдни наполнены ужасом ветхой, профессорской жизни и —

— бороданником старых научных жрецов; —

— оттого-то: —

— расширились глазки ее — колесом: побежали, бежали, бегут... да и выкатились из глазок; алмазики перекатились в платочек: —

— платочек сырой остается на кресле; —

— ну что же: поплакала?

Все у нас плачут!

. . . . . .

На пальчик уселось кольцо с бирюзою; вернулась из Питера; и — появились зеленые пятна на камне кольца —

— очень плохо! —

— все знают, —

— как только испортится бирюзовая бирюза бирюзою зеленой, теряется в доме семейное счастье.

И вот: —

— уже — пра́зелень: счастья хватились; карманы обысканы, полки в шкафах перерыты, а счастия — нет: где оно? —

— Знаю: не было! —

— Шафер Максим Ковалевский в карете его утерял!.. —

— Так пошли болтуши́нники: мама болеет болезнью чувствительных нервов; воссевши, молчит; опустила головку на грудь, перекинула косы на грудь; —

— папа около ходит и около о́хает! —

. . . . . .

Да, между папой и мамочкой — есть: что-то есть; пререкания тут быть не может, что есть пререкания, есть: очень крупные; некого только спросить: —

— ну кого бы спросить? —

— Отвечают лишь воющим высвистом в стекла порывы за стеклами — там, затянув кисеею прозоры: за стеклами; да отвечает лишь лютое время морозом; и виснет трескучее солнце жестокого цвета; и все белопёрые стекла застыли; со всех подоконников скоро закапает...

. . . . . .

Ах!

Я — один: я один; я внимаю пришествию маленьких звуков; от двух до пяти тулумбукает кто-то у Помпула; рубят котлеты на кухне; Дуняша ругается; ранее: мама звонится словами, как связкой ключей, все о рюшах горжетках, жабо; к двум уж скрылась; три: громкий звонок; тулумбасит калошами папа в передней — подмахивать листики; знаю, — под каждым появится подпись: «Декан, М Летаев»; зевает и жмурится; свет ест глаза; бриллиантит окно ледопёра зимой: —

— тарарыкнет оно светоперой весною! —

— и высвистом, вы́снегом свищутся в стекла набеги метели; за стеклами белое клокотание; белый бежит — перегромом, бежит передрогом по крышам — от нас к Реттере́, над Гринбла́том, —

— над Бланком —

— куда-то —

— откуда-то! —

— Папа, изогнутый, трахнет крахмалом, чихая, и — выставит подпись: декан, М. Летаев. Уже морготня зажигаемых ламп; что-то водится: сорное, вздорное; тихо просели углы: в непрозорное, в черное; в ворохи, в шорохи —

— мамочка плачет беззвучно! —

— о чем? —

— Папа встанет, качнется с натуги, посмотрит; и что то захочет сказать: не сумеет — мымыкает, грустный быкан; поморгает на мамочку суриком переполненных глазок (от крови); махнувши рукою, уйдет в кабинетик: сидеть в ка-бинетике.

. . . . . .

Время обеда — тяжелое: —

— мама боками атласит к столу; недовольно схвативши салфетку, бросает салфетку; глазами в кольцо с

бирюзою —

— оно — зеленеет: оно — зеленей, чем вчера! —

— бирюзы не осталось: одна неприятная зелень бросается маме в глаза; —

— и —

— обед хрусталеет графином, стаканами, звонкой грустиной, и матовой дутостью —

— мамы, —

— которая, что ни увидит и что ни услышит, — на все пятит губку, опухшую в ссору...

И — папа теряется: как ему сесть да на что посмотреть... —

— Начинает словесничать: эдак вот, эдак: —

— «Оставьте: молчите... Ну что вы пристали?.. Ну что вы такое сказали? Опять — этот вздор... Та же все ерунда!»..

— «Вы находите?.. Ах!»

— «Очень глупо!» —

— и выставив детскую родинку, мамочка подчует всех; нет не взглядом, а ядом: все то, что ей скажут, ей лучше известно; и все виноваты: кругом виноваты; —

— и брови взлетели на маленький лобик; и строют без слова такие зацепы из мнений, что —

— суп застревает в дыхательном горлышке: кашляю; папа совсем растерялся; со страху он выскочил с громким вопросом.

Всего мне страшней, что ко мне повернутся с вопросами: станут во мне за столом развивать любознательность к точному знанию; знаю, что мама на это нахмурится; и — поглядит исподлобья; и я — поникаю; и я — поперхнулся ответом; на папин вопрос — ни гу-гу: промолчу: —

— потому что, наверное, —

— папа уйдет, а когда я останусь с мамой один на один, то —

— пребольно ухватится за руку, дернет к себе; и схвативши густую гребенку́, вонзит ее.

— «Ой, ой, ой!»

— «Что такое? Ой, ой? Представляешься ты с «о й - о й - о й»: замолчи!»

И расчешет гребенкою волосы: лучше бы выдрала их, чем так мучить ребенка гребенкой: расплачусь; и тут получу: бирюзою по носику.

— «Ну?»

— «Пошел прочь!..»

Бледноглазо ласкает, не грея меня, пустоцветное небо; закат розовеет с хрустальной сосульки; и розовый дым пробежит кисеею по розовой крыше.

. . . . .

А то она пальчиком тихо грозит, показавши кольцо с бирюзою:

— «Послушай ка, Кот...»

— «Заруби у себя на носу: ты мне будешь чужой!»

И полнеющий вдруг подбородок прижмет она к шее; сидит — худовзорится.

Время темнеет; и вот: фиолетовой флейтою льется триоль; и вишнеет клочочек ушедшего света: чернеет на небе; змея, полосатое время,—ползет; и беззубо оскалилась старость в чернотных пустотах губимого мира; уже чернорукая тьма протянула огромный свой перст сквозь стекло; безголово, безного столбом к потолку поднялся Чернорук, уронивши свои пятипалые руки на шейку; и—сжал мое горлышко: темными страхами.

Я сожимаюсь: припрятать развитие (я—развиваюсь, увы!) недогадливый папа, ко мне обратясь за обедом с мудреным вопросом, желает скорей обнаружить развитие, чтоб подарить котелок, подарить сюртучек и футляр для очков, и брелок для часов; отвечаю нарочною глупостью; папины карие глазки забегают, очень печально завертятся, и—опускаются прямо в тарелку горячего супа (он дует на ложку); а я посмотрю исподлобья на мамочку:—

— мамочкин взгляд изменился, когда заболела она: стал какой-то животный...—

— и мама бросает животный свой взгляд, нападая на нас; и—понять невозможно: глядишь маме в глазки: за глазки; останутся мамины глазки на глазки мои не ответят; непринятый маминым взглядом, мой взгляд побежит, как мышенок, от маминых глазок; и вижу, что папочка мой из тарелки моргает, внимательно глядя, как я заморгал; его глазки, мышата, метнутся на мамочку; глазки у мамы, что родинка: смотрят—не видят!

. . . . . .

Мы с папою редко вдвоем; разобщились молчанием; помнится мне невозвратное время, недавнее время, когда еще мама здорова

была; так свободно пошучивал папа, вникая во все, что случалось со мной; и лечил от расстройства животика:—

— помню:—

— однажды схватило животик; я плакал; а папа—крутой, головастый, приземистый, вдруг набежал из-за двери со склянкой касторки, тряся бородой с напускною свирепостью; забултыхался буфет; растяжелой стопой он ударил в паркет, заплясавши вокруг моих криков таким прыгуном; и столовою ложкой махая под носиком, топал словами свой громкий стишок, сочиненный по этому поводу, чтоб позабавить меня:

Экий дурачишко, Котик!
Ты не слушаешься няни:
День и ночь пихаешь в ротик
Всякой мерзости и дряни.

В наказанье вместо порки
Я принес тебе касторки...
Раскрывай-ка, братец, ротик:
Мы прочистим твой животик...—

— И все рассмеялись; и тут же в столовую ложку наливши касторки, он вылил касторку в раскрытый мой ротик; шутливо подшаркнул и громко подпрыгнул под это событие;—

— скоро меня потащили в отдельную комнату: чистить животик.

. . . . . .

Мне помнится, да, невозвратное время, когда не боялся ласкаться я к папе; теперь не ласкаюсь к нему; я—догадливей: понял, что папе скандалы вредны; затаился от папы, любя его крепко; и было мне горько, и плакал я в зорьки; но слезы свои утаил: потеряли друг друга (утратил я друга!); и эта потеря в годах затерялась, когда потерял я способность: быть искренним с папочкой; все же я думал тогда: это есть добродетель моя; этот крест я понес по годам, как невидную помощь для папы и мамы; когда собирались они за столом, то могли друг на друга взорваться: словами и взглядами.

Странно!

Бывало, хожу средь теней; и воздушно повиснет косматость теней; заведутся везде бороданники; я пробираюсь меж них, но сквозь них натыкаюсь на ужас, а ужас—хохочет: обнять меня хочет...—

— Я

мог провалится сквозь пол, где живет зубной врач, поднимая зловоние снизу искусственной варкой зубов; он мой зуб оторвет и торжественно вставит чужой и зловонный ..—

— Подолгу я думал о варке зубов и подолгу я слушал тяжелые стоны (там—дергались зубы); и мысли о гибели, бездне и варке зубов поднимались во время обеда, когда убегала душа в задрожавшую пятку от страха, что папа, схвативши тарелку, отгрохает в свой кабинетик, замкнувшись на ключ и не выйдет: там канет навеки; собрав чемоданы, меж тем в Петербург убежит наша мамочка; а Генриэтту Мартыновну выкрадет «Ц е т т»; я—останусь один: в одинокой квартире; и вот: позвонят:—

— и придет, отворивши и из сумерок дверь—господин в сюртуке; в очень черном; с намереньем очень позорным; останемся с ним мы один на один; промычит на меня он бычачьею мордою: он—

— Черномордик!

. . . . . .

Однажды я видел томительный сон, что—свершилось: что папа и мама потеряны, что унесен я в квартиру, такую ж, как наша; но знаю—не наша; какая то дама (не мама) меня утешает (не так утешает!), меня уверяет, что мама она; вдруг проходит по комнатам папа; к нему я кидаюсь, ловлю за сюртук; повернулся он: вижу—лицо то не папино!..

Странное что-то творится у нас; запирается папа от мамы; и там производит ужасные вещи, которых не знает никто; там становится он—клокотун: ярко-красный; дрожит пятипалой рукою над мухою он, уцелевшей от лета; и—«цап»: ее ловит; и муха сидит у него в кулаке;—

— оторвется ее голова—дергунцами, дрожащими пальцами; папа над мухой сидит—ярко-красный, ужасный; я знаю, что это не муха, а—мама...

И странно, и страшно теперь, в выдуваемых бурею комнатках; все то мне кажется: что-то взвывает; вдруг: все освещается свечкою: видится мама за свечкою; хлопает, шлепает туфлями; шамкает туфлями прямо в переднюю: верно подслушивать, что говорит про нее Афросинья (на кухне); вдруг звук: то забила, забегала палочка хвостика из уголочка: то Альмочка по полу хлопает хвостиком;—

— нет— не подслушала: в кухне—молчание; Альмочка выдала маму... —

— И мама на Альму затопала: палочка снова захлопала; все освещается сызнова—только в обратном порядке; проходят со свечкою: мама за свечкою... Шлепает, шаркает, топает, шамкает...

Что-то взвывает:—

— прошедшею полночью было, я знаю наверное,—

— шествие злых черничей от угла до угла: по ковру, мимо стульев; я—видел; сказать,—не расскажешь; они, черничи, проходили всегда: проходили года (от угла до угла)—по ковру, мимо стульев; луна нападала на них световыми мечами; и толпы немых черничей, упадали, как замертво, на пол; луна уплывала за тучу; они ж,—

— черничи,—

— повосставши, валили ватагой из черной норы угловой: по ковру, мимо стульев: и—не было им ни конца, ни названья!

МИХАЙЛЫ.

Ноябрь, снегодар, выгоняющий саночки, дни осаждает обвейными хлопьями; папа свисает в передней огромной оторваной шубы (ее подшивали уже много раз, она рвется: наверное он на ходу задевает о желоб) —

— свисает в передней енотовой шубою, громко покашливая и отрясая снега; он стоит в превысоком своем колпаке из мягчайшего котика, с желтым, рогожным кульком и с портфелем; в портфеле—дела Факультета, в кульке — златоглавые вина: двенадцать бутылок—мадеры, портвейны и хересы; это — кануны Михайлова дня; прибегут поздравители завтра: Михайлы — останутся дома.

У нас — полотеры: отставили мебель, кровати, столы; и — сложили ковры; один ползал по комнатам, став на колени; рукою, сжимающей воск, процарапывал, хмуро потея, белесоватые, вощаные зигзаги, показывал грязную пятку, которую Альмочка, выставив морду, старалась куснуть и привзвизгнуть, как будто бы пяткою пнул полотер ее.

С белой плетеной корзиной пришла Афросинья; у ней — пестроперая дичь: безголовая птица; я вижу — кровавое горло и желтую лапу; и знаю, что завтра к обеду все это иначе подастся на стол.

Мама строго уткнулася носиком в пестроперого рябчика: нюхает:

— «Нет».

— «Нет, — нет — нет».

— «Не возьму: ни за-что».

О, скорее бы завтра.

. . . . . .

И вот оно «з а в т р а».

О, сколько же розовых, рдяных носов рдеет в рдяный мороз. Сколько розовых рдяных стрекоз приседает: поблескивать холодом; и за окном рассыпают песок, чтоб не падали; нет, не ноябрь, а — декабрь: и рождественским снегом, и блещенским холодом будут выскрипывать ноги на улице; будут вынюхивать дымы; лопаты удар по захаркали жестким железом о мерзлые льды.

И звонок, очень звонкий: приносят картонку; от нетерпения сердце мое—ходуном; а у мамы глаза—колесом; мамин ротик цветком раскрывается: там язычок — червячок; и она — облизнется, как кошечка, от удовольствия: торт Толстопятов прислал; и картонку несут прямо к папе; прелюбопытно уставился он из халата на торт, поправляя набрюшные кисти:

— «Скажите пожалуйста...»

Мама наклонится, вытянет губки:

— «Ну вот: поздравляю. .»

И глазки — две ласки: проглядные, как абажурики: снимешь их — два огонька; и прилобился наш именинник к протянутым губкам; я знаю: от глазок теперь подожгутся; у всех огоньковые глазки зажгутся; да, да, — сколько раз именинничал папа; и — будет еще именинничать он: а уж там поглядишь, и — ударная старость стоит с своим даром: с неблагодарным ударом.

И папочка стар: пятьдесят уже лет.

Он сидит за столом, отдыхая пред трудной обязанностью: угощать посетителей, предлагая то сига, то сыру, то масла, то хересу, — перед куском шоколадного цвета стены, опираясь большой головой в косяки своих полок кофейного цвета; сидит без очков в бледно-сером халате; сидит — в большой нежности — так, ни с того, ни с сего, пред собою поставивши кремовый торт Толстопятова, весь припадая опущенным плечиком к стулу, — такой большелобый, с упавшею прядью; его голова, чуть склоненная на-бок, доверчиво нам удивлялась совсем голубыми глазами (не карими):

— «Вот ведь скандал».

— «Именинник».

— «Скажите пожалуйста».

Он улыбался тишайше себе и всему, что ни есть; и казался китайским подвижником, обретающим «Середину и Постоянство» Конфуция; эдакой ясности — нет, я не видывал.

А между тем приходили к нему, то Дуняша, то мама:

— «Пришли поздравлять педеля».

— «Пришел дворник Антон...»

— «Ночной сторож...»

— «Водопроводчик...»

Помаргивал папа беспомощно в нас виноватыми глазками; и выгрохатывал шуточки:

— «Педель не пудель».

— «Антон-с? Без Антоновки?»

И, доставая бумажник, выкладывал деньги.

Перевалило уже за одиннадцать утро: заглазилась в окна ворона: «Шу, шу».

Пролетела.

В столовой теперь расставлялись столы; и вкладные, огромные доски теперь закрывались снежайшею скатертью; горы фарфоровых звонких тарелок блистали протерто; бренчали о вилки ножи, полагаемые Дуняшею: выставив глупую морду, коптился на блюде промасленный сиг, золотисто-коричневый; и появлялись сыры и колбасы, и рюмки, и стая бутылок; и гнутые полукруги сидений обставили стол; чистота и порядок — во всем.

Это мамочка распоряжалась, нарядная, в клетчатой юбке, виляя огромным турнюром, шурша казакином, прекрасным и розовым, с острой, как башня, прической проколотой золотым гребешечком; и с глазками, укусившими больно шершавую руку Дуняши:

— «Нет, нет».

— «Не сюда».

С зажигавшимся розовым личиком маленькой куколки: горло заколото брошью, которая — круглая; в ней — белоперая дама сидит с волосами совсем рыжекрасными: это какая-то там фаворитка: м а д а м; вижу: мамины глазки, туманные глазки, теперь обострились, как пьявкины глазки; зелененькие огонечки забегали по серьге с бриллиантом:

— «Опять напустили вы чаду из кухни».

И — краспенькие огонечки забегали по серьге с бриллиантом.

Звонок — очень звонкий:

— «Мамаша».

То бабушка: в светлом, коричневом плисовом платье с парадными лентами плисовой свежей наколки, с лиловеньким поминаньем в руках; и она без турнюра; за нею бледнеет безлобая тетечка худенькой палочкой; следом за ней — остолбенело войти не решается, весь озлащенный веснушками, переправляя, представьте же, белый свой галстух, сам дядя Вася. И мама ему:

— «Это верх неприличия! При сюртуке белый галстух».

И вот понесло пирогами из кухни: с капустою, с рисом-с рыбой-с вязигой, с морковью и с мясом.

О, сколько же розовых, рдяных носов будет рдеть, забегая в переднюю, шаркать ногами, покрякивать, громко сморкаться и спихивать шубы в Дуняшины руки, внося за собой из мороза щекочущий запах горелого; будет отряхивать блещенский снег с обсосуленных усиков, чтобы, украсившись всякой игрой, миловидно влетать, спотыкаясь о блюдо вносимой большой кулебяки; звонок: быконогий профессор, седой бородавочник, тут белоброво пройдет с поздравлением, сядет, засунет кусок кулебяки в зашлепавший рот; и забрызжет слюнными словами; звонок: Малиновская станет ободранным остовом, с белым, бескровным лицом — переплющенным плющиком; едко напомнит: понюхает воздух своим фиолетовым носиком; воздух испортит зловонным вопросиком; с ней проплывет многородная дама с большим животом; Малиновская спросит:

— «Который?»

— «Двенадцатый.»

Самославный нахал, сочноротый присяжный поверенный, крякнув крахмалом, покажет себя, как то вишнево взором уставится в херес, прозубит двусмысленный свой каламбурчик и, клюнув из рюмки, баранно изблеется; перекрахмаленный же щелкач — тут как тут: щелк да щелк — толк толочь. Кто-то странно запачканный, хмурый, как иодный раствор, позабудет уйти; и останется с нами обедать; трескочный негодник поднимется с места и сделавши общий поклон, на который ему не ответят, пройдет в полусумрак передней, несолоно с'евши; перегрохочет у нас за столом в своем полном составе, как кажется, весь факультет; попечитель учебного округа сам занесет свою карточку, но не войдет; будет щуриться ласково кланяясь, добрый такой и стыдливый профессор Жуковский: мужчина мужчиной, а голосом плачет, как женщина; неизменяемо выйдет из двери, столкнувшись с уже уходящим Жуковским, принесший с создания мира свою седину, очень маленький, мило моргнувший Анучин; казался

мне малой рыбешкой, но очень костистой (проглотишь — подавишься: сядет у нас прозирать настроение общества: ухо держите востро. Верно «Русские Ведомости» получили известие): —

— я недавно еще его встретил на улице: встретивши, вспомнил, что тридцать пять лет его знал совершенно таким же: всегда очень стареньким, седеньким; верно с пеленок он ходит с седою бородкой, с вихрами белейших волос, привскочивших над маленьким, очень морщинистым лобиком, с красным, свисающим носом, который хватает он пальцами: —

— вломится тучный, всегда запыхавшийся словом, Сергей Алексеевич Усов, чеботарея тремя-четырьмя бородавками, точно вкуснейшею ягодкой: да, земляничка на нем выростает; его фунтовое, тяжелое слово прихлопнет совсем щелкача; тот, прихлопнутый, фукнет, как пыльник; и облачком фука, зеленого фука, — осядет на скатерть: —

— не то Веселовский —

— иной, волоокий, надутый таким невесовым превыспренним воздухом: все выдувает легчайшее, витиеватое слово, которое носится сдунутым пухом (коль в нос попадет, так чихнешь, — не поймешь); и не то говорит Алексей Веселовский нам спич, а не то преднадменно сдувает цветки одуванчика; пухом несется, не зная куда и зачем, на словах, обрамленный власами: —

— Сергей Алексеевич Усов, куря, осыпается пеплом, насмешливо слушает; вдруг засипит, да и выпустит дымным кольцом бедокурное слово: —

— летит бедокур в перекур: —

— да, я знаю, что все они будут.

. . . . . .

Ну вот, начинается: слышу звонки; я сажусь — наблюдать (под окошечко; там за окошком: ворона стучит черноносо в окошко из белого снежного пуха; пошли облака; и пушисто летит сребоперый снежок): а в столовую быстро влетает студент первокурсник, носатенький, с черной бородкой, при шпаге; и папа выходит навстречу ему; он стремительно подлетает, восторженно дергает папину руку; и щелкнувши ножкой, от силы щелчка´ отлетает чрез комнату в угол с оторванной бедной рукою (о, сколькие руки оторваны им); он отсюда проходит к столу опустить над тарелкою нос: это — Батюшков, внучек поэта; его теософия ждет впереди: и приходят еще два сту-

дента: один—Алексей Николаевич Северцев, тощий, высокий, старообразно изогнутый; Паша же Усов, студент богатырского вида, пройдет, мимоходом, подкинувши в воздух ладонь: —

— и летит среброперый пушистый снежок за окошком, пушисто ложится; ворона нахохлилась; шариком стала: давно цепенеет она; я смотрю и туда, и сюда: за окошко и в дверь; подают кулебяки; снежайшие старцы проходят почтенно; строжайшие старцы глядят вдохновенно: в пространстве столовом бубухают словом: сутулится папа с ненужною помощью; широконосо, порой указуя на стол:

— «Дичий сыр».

— «Предлагаю вниманию».

И миловзорится мамочка:

— «С мясом».

И все среброперый снежок пролетает безвесным сметаемым пухом; вороны прижались друг к другу на крыше: баранно проблеяли смехом: да, да, — Малиновская вкусом — сухая тарань, а костями — колючая корюшка; для чего она делает вид, что она либеральная телка. И руку отставит, и ногу отставит, и просто молочные реки текут; —

— и баранно проблеяли смехом; стоит: га-га-га, — ба-ба-ба — «Абакра... Обокрали... Баллотируют» — пересекаются фразы: но нет-с,— поспешите подать резолюцию... вы в факультетском порядке... Дуняша, вы что? Шубы барыня, негде уж вешать... Повесьте на стенке диплом, сударь мой... Абакра... Ба-ба-ба — га-га-га. —

— Затрясется буфет: это папа, сияя глазами, проходит с бутылкой рябиновки и наклоняется в быстрой услуге:

— «Рябиновки». —

— «Э, да, он мыльник: надутый словами, летал пузырями; он — лопнул-с. Я вам говорю, что он лопнул», — сипит перекуром Сергей Алексеевич Усов —

— но тут появляется сам Алексей Николаевич Веселовский, надменно надутый; и все — замолкают: —

— «Пссс».

— «Пссс». —

— Засвистал пульверизатор сосновой струею: то мамочка хочет очистить закуренный воздух: —

— «Мы с Мамочкой, Фи-

мочкой, Фифочкой, Фофочкой, Мисиком, Тосиком едем на праздники к брату в деревню... —

— Га-га-ба-ба-ба». —

— Папа выскочил быстро, карманом своей разлетайки опять зацепился за ручку, карман оборвал:

— «Обратите вниманье: икра»: —

— наклонился над Гротом, который, войдя, пересек криворотую злобу профессорш, уже черноброво уселся в прекрасной (не слишком-ли) позе, естественной (слишком естественной), черные кудри с бородкой склонивши на руку; и делает очень красивые жесты другою рукой:

— «Передайте балык».

Но сутулясь и так доброносо уставясь очками мой папа стоит за спиной, улучая минуту рукой указать:

— «Дичий сыр очень вкусен...»

И Грот:

— «Благодарствуйте». —

— Он обращается к многососальнице кислых лимонов; а папа, очкастый, главастый, но прыткий и кидкий, оставивши Грота, разводит везде юмористику точек, ведет параллельные линии карими глазками; и — перекидывает параллели: от сыра к колбасам; сегодня ему философствовать некогда; и — философствует Грот перед важной двугубою дурой, профессоршей Кисленко; да, говорят— в ней грудастые страсти, а держится стянутым пыжиком; губки подтянуты малой горошиной, точно свистеть собирается: если распустит, они будут ломти; ей мамочка робко укажет на кисть винограда; она — отвернется, как будто не слышит; и, мама, обидясь, предложит опять: ей ответит двугубая дура сугубою грубостью; ей повернет свой турнюр; и подтянутым пыжиком слушает очень красивого Грота; и карандашиком делает очень покорно отметки она в своей маленькой книжечке; слушает Грота почтенный фразер, весь надутый двумя юбилеями; сжатый своей приготовленной фразой, как крепким корсетом, сидит дожидаясь удобного случая,—вскинет пенснэ; и—рисуется белою плешью; и—вот: случай стукнул; и—поднимает бокал, поднимается сам, и, возвысясь над спинкою стула.—он дует устами:—

— и пучный пузырь образуется; жилы налью́тся; и от усилий своих рассыпает песочек; и правой рукой поднимает он выше и выше шампанское; левой, едва помавающей, —

— около уст принимается он это все

развивать: разовьет до того что, руки не хватает; тут — лопнет: и все с уважением смотрят в пустое и общее место; качается в воздухе палец, да взвешен в пространстве бокал, —

— а все прочее лопнуло: нет никого; только—стул, а под стулом песочная горсточка; горсточку вынесут; с папочкой чокнутся: это ему говорилось: он, он—дорогой именинник; привлек он фразера, который, ведь, каждый день—эдак (до юбилея до третьего) дуется где нибудь: наговорил библиотеку, а написал—две брошюры; напротив—сидит безобразник: зарос волосам до глаз он,—до маленьких щелок: до злейших, хитрейших: и—чешется: обезьяна какая-то. А говорят,—умник он —

— Виндалай Урванцов: —

— я боюся, что рявкнет; он рявкнет,—от ужаса руки трясутся у всех; рот расширится до... окончания мира; оттуда несет океаном каким-то; его называют трубой перихонской; и где ни вострубит—день первый; и—хаосы; и—двадцать пять болтунов просто лопнут; тогда рот замкнет он; и—чешется: и—озирается: дикий и красный, сконфуженный; после него—минут пять тишина: вижу—движутся рты, а не слышу: оглох; Виндалай Урванцов ударяет Царь-Пушкой; ударит—океанической ширью повеяло; он же, ударив, конфузится; робкий: никак все не может жениться;—все женится, женится, а от венца—убегает...

Темнеет в столовой, редеет: за окнами, там, — о, какое горение, преображение и — просияние; пресуществилось, восстав из нецветного дня — самоцветным, просветным: багровым, пунцовым, лиловым; и — кажется новым; и день — провоздушен, освечен; летит прямо в ночь; —

— но в столовой сплошной беспорядок; собрание ело и пело, сидело, галдело; казалось — наладилось; вновь начинались везде нелады; образовались, казалось, у нас за столом — Кузнецы и Медведи повсюду; расставятся друг перед другом; попеременно кидаются кулаками и словом — на середину меж ними; посередине — молчит дядя Вася, напуганный криком; уже отодрали копченую кожу; под ней бледно-белый балык, показав свое мясо, об'елся: лишь рыбья копченая морда глядела совсем удивленно недвижимым глазом, затем перейдя в многокостье; от дичьего сыра остался желтеющий жир да бумага свинцовая, а от икры — обсыхающий ножик; никто не звонится; наполнил переднюю гомон; а стулья отставились все, образуя

то двойки, то тройки, застывшие в споре; тут — скомкана скатерть, а там — залита.

И — всегда так: бывало они пустовзорились все в громословы свои; отхихикнет один, все — подфыркнут; и — смолкнут; и вдруг побегут перегромом по комнатам; передвигаются стулья, прощаются; и — зазывают друг друга; закуски — из'едены; множество грязных тарелок несется на кухню; все то перемоется, будет запрятано снова в буфет; потечет все по старому, будто и не было вовсе Михайлова дня никогда; но —

— он будет опять; это все — повторится; оно повторялось уже от Адама; и будет оно при восстании мертвых; да, мертвые, повосставши из снега, придут, громыхая калошами, в этот таинственный день к нам за стол: —

— о, горение, преображенье, за окнами; пресуществилось там все из нецветного дня, — самоцветным, просветным: багровым, пунцовым, лиловым; и — гаснет. Все — пусто: и наш дорогой именинник ушел отдыхать; отдыхает и мамочка; а из угла завелся чернодум-бородан; это — тень; он — выходит тихонько; и бродит — легонько; царапает тихо обои... своим... тараканом...; —

— пройдут чернодумы, пройдут бороданы нешумною поступью; толпами встанут, за руки возьмутся: руками сольются: и —

— будет одна чернота: —

— ночь — присутствие — да: очень многих; и — нет: не отсутствие их...

. . . . . .

Уж за окнами холод синел — там на все вылезающим дымом; слагалась градация всех умерканий в голубоватые тусклости: от синесерого и — к синесинему; и от него — к синечерному, к чернолиловому даже; перемеркало все это — в чернила, пролитые за окошком: густые, сплошные. —

— А наш именинник: —

— лежит на постели: на жесткой постели, заставленный шкафом, совсем без очков, обнаруживая морщинки у глаз, утаенные стеклами, — бледный, усталый, за день прохудевший и меркнущий в умерканиях дня: и бросают прохожие сумерки ряд своих мрачных вуалей на это лицо; в синесером оно еще белое, а в синесинем, оно — засерело; в сплошном синечерном оно просинится едва от постели:

— «Да, папочка — старится»...

Он же, привскочит с постели; и растирает глаза:

— «Ах-ах-ах-с».

Копошится уже над очками; и — суетится, отыскивая карандашик и чиркая спичкою: разорвались черноходы почей — в блеск свечей.

— «Что вы — эдак же вредно кипеть: целый день».

— «Ничего-с, ничего-с».

И ушел — в вычисления.

— «В клуб бы не шли».

Наливная слеза задрожала из глазок: боюсь, что расплачусь: в пробежное время бежим неизбежно я... с желтеньким кубиком, мама — со шляпной картонкой и папочка с новой брошюркою: «О радикале э-иксе:» — я боюсь: я расплачусь: ну мне еще можно бежать, маме можно, а папе — куда? Пятьдесят ему стукнуло: был именинником; и — перестал: побежал с именинного дня по дороге времен —

— и я вышел тихонько в гостиную: кресла стояли во мраке; и в креслах сидела: компания мраков, — и передразнивала тут сидевших гостей; и такие же мраки взирали в оконные стекла тяжелыми взорами; мраки стояли под легкими шторами; мраки стояли шпалерой: —

— немых кавалеров —

— надев свои фраки.

АГУРО-МАЗДАО.

Стою у окна под ореховым крепким багетом: повешена слетная штора на медных колечках; а — подают самовар, посылающий в воздух развитие пара: под склянную лампу; я липну к окну, где твердеет Москва; и за нею леса, города и поля, по которым несутся с границы швейцарки и немки к нам; к детям, и по которым поедет француженка.

Вот носороги идут коридором (буфет задубасил стопами: подпрыгнули бюстики); то из дверей — голованится папа, уставясь в меня жестяными очками; стоит; совершая за дверью застежку своих панталон; вот уже бултыхнулся в проход, подмахнувши одною рукой, прижимая другою рукою зеленую книжечку к боку: спешит он за стол, свирепея усами:

— «Ну Котик, дружок мой!..»

— «Поучимся».

Перед собою поставит: привяжется шаркать; я шаркаю ножкой тряхнув головою одною (я — в платьице: кудри мои, залетав, пощекочут под носиком):

— «Так-то вот!»

Так-то я! —

— А у Дадарченок мальчики шаркать не могут; один ослюнявится, свой кулачишко засунувши в ротик; другой еще ползает; Сонечка делает книксен; а мне она делать не хочет; мы просто целуемся:

— «Раз!»

И — готово: скорехонько... —

Папочка, громко отшаркав, сажает меня на колени; он — в форменном фраке (сорвется на лекцию); спешно споткнется мясистым лицом пред раскрытою книжкой, сутулый и скошенный на-бок: кусает он розанчик, бегает он языком в отдаленные страны, где солнце ярчеет, где ходит обвитый тюрбаном оливково-бронзовый индус, где перс в полосатом халате отчавкает персиком.

Солнышко, ясный фазан, распускает теперь светопер через зимние дымы; оно многознайками — зайками — к нам забежало из окон; и в нем — пустолеты.

— «Вот так то, мой Котик!»

— «Россия, брат, — во!» раскидает ладонями он, мне напомнивши жест Саваофа под куполом Храма Спасителя (нос Саваофа был взят Кошелевым с профессора Усова: нос — в три аршина!)...

— «Огромна!»

— «Она заключает» подбросит он ножик и ловко подхватит его «Туркестан, и Кавказ, и Сибирь, Бухару и Хиву, и Финляндию» ловко подбросит он ножик...

— «Урал» и поймает его... «Повтори...»

Повторяю:

— «Сибирь, Бухару и Хиву...»

Бросит ножик:

— «В Сибири, брат, холод, а в Туркестане ростут тростники: там сидят полосатые тигры и кушают сартов; у сартов халаты, пестрейшие, братец мой».

Пахнет антоновкой, ходит словами:

— «У нас есть Камчатка; и даже Аляской владели мы, но...

чорт возьми» и лицо прорезает угрюмая складка, и смотрит пустыми глазами от ужаса:

— «Чорт возьми! Немцы, чинуши, ее проморгали: Аляску мы продали» щелкнет он пальцем под носом и сделает кукиш из пальцев: «За миллион, братец мой!»

Прокислеет лицом и покажет язык:

— «Насажали нам немцев министров: Ламбздорфов и прочих; об этом стараются Бисмарк с Кальноки: у Бисмарка три волосинки... Аляску то, — продали!»

Тут приумолкнет, как будто он слушает внутрь себя, глазки зажмурит и рот разожмет, приподнявши разноздренный нос: и — свирепо чихнув, достает торопливо платок из под фалды; потом на словах, — да в припрыжку:

— «Но все таки, гм: кое что да осталось у нас».

И конфузится, очень довольный богатством России:

— «Вот так то вот, Котик».

Вот так то и мы: развиваемся мы!..

. . . . .

Из столовой — открытая дверь: там — гостиная дверь открывает таинственно мамину спальню; за ширмочкой с лаковым полем небесного цвета, откуда летят на резьбе златокрылые аисты, под голубым одеялом, космато поставив головку на голенький локоть, — протянута мамочка в слух; затаивши дыханье, она собирается нам доказать, что нельзя развиваться, — угрозою:

— «Котик!»

— «Сюда...»

— «Не смей слушать!»

— «Тебе это — рано!»

— «Поди-ка сюда!»

Как уйти?

— «Кот — останься» ощерится папочка...

Что тут поделаешь?

— «А?»

— «Ты не слушаешь матери?»

— «А?»

— «Так и знай: я — не мать!»

Как не мать? Я, — робея, пойду; но едва я пойду, как за мною притопнет словами споткнувшийся папа, расправивши руку с дрожащими пальцами: «цап» за юбченку: и запах антоновки вдруг пропадет; и повеет другим уже запахом, свойственным тоже ему; этот

запах притушенных стеариновых свечек и жженой бумаги бывал мне знаком, когда папа с затушенной свечкою шел в кабинетик из тменькой комнатки; вот — наливается жила на лбу; наливается жила на шее; и — длится молчание, полное ужаса: —

— воют в трубе древотрясные ветры; и явственно слышится звук белендрясов, строчимых на швейной машинке (строчится экспромт: маскарадный костюм); —

— слышен звук упадаемых дров (он из кухни); несется уверенность (экая шалая мысль), что на кухне пропахло овчиной; Антон, дуботол, дровощеп, стоеросовый весь, дровоствольный какой то; свалил там вязаночку; и пососав заусенец, ушел, отвонявши овчиной: —

— пойти бы: понюхать овчинки!

. . . . .

Мне память проносит все это некстати, — от страха, что мама проснулась, как тигр залегая за ширмами, чтобы оттуда повыпрыгнуть, щелкая зубками; и затащить меня, сарта, за ширмочки.

И потому то: когда закатается папа словами (так рой деревянных фигур закатается в шахматном ящике), — память моя убегает из пяточки в нальчик: со страху, что мама проснется; со страху же крутит в головке какими то вовсе ненужными мыслями: —

— видел недавно я справа и слева от солнца — два ложные солнца; два солнца померкли, а солнце — осталось; померкнет персидское солнце, померкнет индейское солнце, как папа исчезнет на лекции: мама — останется!

Громко подтопнет тут папа:

— «Ты, Котенька, знаешь ли, вовсе не слушаешь?»

— «Эдакий ты!»

И поддернувши скатерть, запляшут по скатерти пальцы — горошками; дернется словом:

— «В России есть... что?»

Я — споткнулся: молчу; я — такой раскарякой сижу; я — такой недотяпой коснею:

— «Урал!»

— «Есть Урал» грохотнет и наставится он:

— «А еще?»

Я — не знаю: навалится дернется:

— «Как, как, как, как?!?»

Посмотрю я: у папы — раскосые, злые, татарские глазки; хочу отвечать; но... за лаковой ширмочкой взвизгнули, щелкая, тигры:

— «Кот: Котик!»

— «Не смей!»

— «Тебе рано...»

— «Сию же минуту — ко мне!»

— «Нет-с, позвольте! Урал, а — еще?» — запыхается папа ладонями в воздухе.

Я — ни живой и ни мертвый: я слышу, как мама зашлепала: с заспанным, с нехорошеющим, сонно опухшим лицом, позабывши капот, без корсета, без кофты, без туфель, она выбегает в столовую с сосредоточенным видом; и здесь — размахается, пренекрасиво подтопнув босою ногою:

— «Я — мать тебе?»

— «Мать тебе?!»

Вот, ухвативши за плечико, дернет за плечико: вывернет плечико; тускло лицом припадет мне под носик и пальчиком водит, присевши у носика, полной рукой прижимая рубашку к ногам и голея плечом; задевает меня бирюзою по носику:

— «Мать тебе я?»

Я — решаю, что — нет: мне иного нет выбора; знаю, все знаю но — выбора нет, потому что захваченный папиной пятипалой рукою за юбку, — бежать не могу я отсюда: ай, ай, ай, ай — эдак вывернуть можно мне плечико: будут опять синячки — безобразие!

Тах- тарарах: громко падает стул; завязалась борьба — за меня (оборвали тесемочку мне): папа выпустил юбочку: грозно присел, как козел, пред присевшею мамочкой; смотрят друг другу в глаза (точно так петухи перед тем как подпрыгивать друг перед другом, — присядут: и — смотрят друг в друга); и папа не выдержит: едким разрезом раскосых, китайских глазенок, кроваво налитых, как суриком, вдруг подморгнет; и — пойдет, хлопнув дверью; останемся с мамою.

Двери защелкнув, расставивши ножки и выпятив очень сердитый живот, закусает сердитыми зубками красные губы: и — шлеп-шлеп-шлеп-шлеп по щеке; мне не больно нисколько от пальчиков мамочки; больно от злого колечка: зелененький, крепенький камушек очень кусается; мамочке — под ноги: малым комочком; целую с любовию ножку: Христос повелел нам молиться за грешников.

Мамочка — тоже заплачет; и — выйдет; сижу — на полу; по паркету бежит ползунок-паучок многолапым комочком; — за ним; да и

ножкой расшлепнул его по паркету: под ножкой замазалась черная т л я - т л я.

Вот — вечереет: и жжется сожженное око, — далеко; и ухают тени с востока; сожгутся сердца; и сожмется под сердцем какое-то ч т о - т о: —

— и меркло за окнами: холод синел замеркающим домом; давно убеленный сединами день показал, что он — негр, прочерневши вечерним лицом; и — туманясь снегами на крышах; на лысую голову шара земного надели цилиндр, очень черный; рукой роковой нахлобучили ночь; одиноко и строго.

Сажусь я под окна; и ночь чернорого: уставилась в окна; в углу началось размножение мраков; пошел в коридорчик: присиротинился к печке; свирепо затрескала печка поленьями; красное пламя ходило по красным, уже об'едаемым с краю дровам, — расшипелось, рассыпалось златом и жаром: чернело угляшками; ярко мигали везде васильки-мотылечки угарного газа.

В гостинной, — там бабушка крепко уселась на просидне кресла с моточком, с крючочком: разматывать мне, выборматывать мне: из меня самого — мою жизнь, и посматривать, взглядом сверкнув, как огнивом, из сумерек: —

— черная бабушка — жизнь; этой бабушкой стала и бабушка; мы ею станем, когда мы устанем; а мы устаем что-то: старимся мы, как другие, которые с молоду так, как и я, залегают как гусеница, в перевязанных крепко пеленках, потом вылетают, как бабочки, кушают много, как мама, становятся толстыми бабами, как Докторовская, ходят грудасто, сидят животасто, и дрябло обвесясь морщиной, они досыхают, как бабушка, горбиком, или развесясь сухими ушами, как связкой грибов, приправляются к супу —

— и тут рассмеется беззубо двузубая бабушка; и — пустоглазая тетя моргает из тени: в таком положении; и рассыпая свое пустородие звуков, со мною побитым, отшлепнутым, странные игры заводит свои: обнимает и водит меня по теням, как по дням; кто-то вытянул лапу из темных потемок, а я прохожу через лапу; а там: —

— ту —

— ту —

— ту —

— черноходы пошли коридором: выстукивать! Черные фраки проходят безного, безглаво — один за другим, наклоняясь друг к другу из'ятием лиц и

потом поднимаясь наверх руконогом теней в семиножие дней: кружеветь потолками и рваться лучом белолапого пламени: —

— это Дуняша проходит со свечкой: сквозной, черномазый гримасник — за нею запрыгал, тенея, чтоб в бременных сумерках реять безвесо; —

— в оранжевом пламени и в шоколадных обоях сутулится папа, вернувшийся с лекций; мама, откинув головку и ей уплывая в боа, колыхает турнюром, дрожит растопыренным током малиновой шапочки, руку просунувши в муфту, — проходит, со снегу (вся белая, в снеге) к себе:

— «Не подумаю я горевать» — она дернула носиком; папа сидит углубясь в вычисленья и делая вид, что он мамы не видит; он, если поднимает на маму глазок, очень хитрый и вовсе не злой, то повыпятит губки она; он же очень рассеянно, перед собой поморгавши, уткнется в зеленые пятна сукна, и — чинит карандашик:

— «Ну» думаю я «продолжается ссора»...

Я — слаб; да, я — раб: утопаю опять в бормотании баб, — закопавшись в матрацик до утра: а старая баба — склонилась; и — шамкает черною челюстью; —

— вдруг! —

— озарилось! —

Не черная баба, а белая мама блистает свечою, окапавши лобик, — в глаза; беспощадной рукою откинувши кудри, — бывало посмотрит на лобик; а лобик — большой:

— «Большелобый!»

— «В отца...»

. . . . . .

Как расстрепаны мамины кудри: живот злопыхает, грозит загибаемый пальчик; надуется под подбородком второй подбородок:

— «О, нет!»

— «Не в меня!»

— «Весь в отца...»

И отшлепает в сумрак; боюсь: чернорогий бубука, сквозной незнакомец, из кресла мычит мне коровьею мордой...

. . . .

Ночами я — пленник; ночами сплошной веретенник бормочет во мне расширением слуха; и малая волосиночка шороха, бухает громким поленом; и черное пятнышко, режущим скрежетом, быстро подымется бегом осиливать лунный косяк; остановится, тяжко присев, как рачек: таракан!

Вот минуты оттикали, слабнут едва намечаемым просветом; вижу: чернила — синило; и знаю: —

— денек, белоногий младенец, крича благим матом, бежит уж в дугу вековую небесного свода; косматые мамы за белым младенцем пустились: с сосредоточенным бешенством; и — совершится убийство: минуты затикуют каплями крови и слез; душегубки, колонною плакальщиц станут направо и станут налево; и кто-то брадатый, и кто-то крылатый косматою митрою встанет над гробиком; будет отчитывать громко он: —

— бе́ри-бе́ри-бе́ри-бе́ри — бербе́ри:

— бербе́ри-бербе́ри-берй;

— ѐри—а́рии, арии: —

— папа рассказывал раз о великом персидском пророке, по имени «З о р о а с т р»; —

— и я вижу во сне: —

— продолжают они заколачивать гробик, пока он не лопнет лучами сторукого солнца: —

— Агуро-Мàздао!—

— И тут просыпаюся...

. . . .

Утро!

Легчайшие перегоны снежинок дымеют под склянное, искряное, синейшее утро; алмазник какой-то; вселенная точно надела алмазную митру и сыплет свои драгоценные краски персидским ковром; папа тянется к мамочке: треплет по плечику; мама, надув свои губки, ему позволяет; я — взвизгну от радости; знаю, что к вечеру будет звонок очень громкий: прибудут картонки (подарочек папа пришлет от Кузнецкого Моста); и сердце мое — ходуном, а у мамы глаза — колесом, затрясется руками, срывая бичовочки; вынет оттуда большой абажур, обвисающий кружевом, и—облизнется, как кошечка, от удовольствия.

. . . . . .

В нашей гостиной еще с Рождества сохранилася елочка; вечером этим ее убирают опять; и она — в ясных шариках; все самоцветные шарики полнятся легкостью; тронешь чуть-чуть; и — закракал своей скорлупою разбитый напученный шарик; я знаю: опять в картонажах дражэ; прикупили хлопушек...

. . . .

Уж пукнула порохом вот золотая хлопушка; и вытащен желтый, бумажный колпак из нее; и уже на головке — разорван; другая запукала; и — подарила свои мне штанишки из синей бумаги; но — коротки; экая жалость; ну — сдерну орех; закачались все ветви, попадали иглы; и цокнул в паркет оторвавшийся шар; золотая теперь скорлупа захрустит под ногами: —

— как все здесь просвечено, все здесь освечено; обрилиянтилось, ясно заглазилось; просто глазастый алмазник, иль — митра; мой папочка, светлый, надевший колпак, точно митру, обвесил себя золотою, бумажною цепью и ходит таким Зороастром:

— «России, мой друг, предстоит в отдаленнейшем будущем — свет; «Р у с а н т» — это светлый; и «Русский» иль «русый» есть—свéтенник!

— «Да-с!» —

— Посмотрю я в сквозной пересвéтень; пастилкой набил себе рот; так рубинно-прояснен из пахнущей зелени нам красноярый фонарик; схватились за руки; и — кружимся: блеск — вертолетами!

ПАПА ДОШЕЛ ДО ГВОЗДЯ.

В наши углы приседают подслушивать!

. . . . . .

Мама—в разбросанных чувствах: присела под ширмой, у шкафчика; скворки из красного дерева ручкой раскрыла, наполнивши комнату запахом спертых духов; ослепительно выехал ящичек, пахнущий лаковою чистотою и блещущий тем, что его наполняло:—

— сушеный цветочек, душеный платочек, стеклянный дракончик, граненый флакончик: флакон за флаконом, сверкая оранжевой, гранной стекляшкой из матовых стекол притертых, скрежещущих поворотами пробочек, райски поблескивал; горный хрусталик, стеклярусы; бусы и бисер в картонных коробочках, два аграманта;—

— все это расставилось рядиком на ослепительном дереве, томном от запаха, распространяемого из с о м о в о г о цвета с а ш э, где хранилася стопочка малых платочков, оранжевых, розовых; кучечки: синих, лиловеньких ленточек, ясно сказавшихся звоном бубенчиков (от котильона); здесь есть веера—

кружевные, резные: из лайки, из кости,—с точеными ручками; есть и коробочки с пудрой;—

— перетирать, право, нечего: мамочка перетирает все это! Рискуя быть изгнанным, крадусь по стенке в сверканье граненых флаконов, в мир запахов... Вижу себя я из ртутной поверхности зеркала туалета, надувшего кружево, в очень голубеньких бантиках; перед постелью раскинута ширмочка лаковым, синеньким полем; на ней—золотые рельефы распластанных в воздухе аистов, вечно повисших на небе; за небом—постель, где на стеганом, ярко лазурном ее одеяле—под кружевом взбиты подушечки; мама в лазоревом «п у ф е», сложив ногу на ногу (ноги—босые) в белеющей кофточке, в косо надетой и палевой юбочке (в нижней), своим полотенчиком перетирает флакон, прижимая к коленям притертою пробкою:—

— пудренница, граненая, из хрусталя: там—пуховочка: пуф-пуф-пуф-пуф; и—напудрился: пудреный! Вот бы еще уголек: я бы вывел усы и отгрыз: перехрустеть на зубах и показывать черный язык Генриэтте Мартыновне:

«Ach, was wird sagen M a m a?»—

— А «Mama»-то—вот здесь; и не видит: перетирает флакончики; кажется: все перетерто и все перевязано; но—

— вот рукою над носиком приподымет флакончик, понюхает, глазки прищурив, усмотрит пылиночку; и, обхватив полотенцем, прижмет к шелковеющим, желтым коленям; и—

— трет: перетирает все сызнова: в том же порядке; слова, как болтливые мухи, слетают с ее язычка в... тишину кабинетика жу́желжнем: папе под ухо; для этого дверь в кабинетик нарочно открыла она:—

— так мушиная стая под ухом жужукает в солнце; рукою махнешь: она—дернется, ярко блеснув изумрудником спинок; и—снова танцует под ухом: жужуканьем жутким: «ж у - ж у» да «ж у - ж у»—не кому нибудь лично; так, в воздухе!—

— Пусть, пусть, пусть:—

— «н е к о т о р ы е, к о т о р ы е» могут услышать, услышат о «н е к о т о р ы х, к о т о р ы е...»—

— «Некоторые, которые думают, что постигают науку, а в жизни остались болванами,—да!.. Иметь шишкою лоб и бить стены им вовсе не значит быть умником...»

— «Тьфу!»

— «Вот вам нате же: тьфу!»

— «Большой лоб?»—

— перетертый флакончик поставлен; берется другой,—недотертый; и—трется, и трется; и раздается покорное:

— «Гм!»—

— за альковом, из двери; то—«некоторые», которые молчаливо засели в своем кабинете;—

— февраль настигает уже; он—ветрищенский месяц: разлёйные ветры овьются кисеными снегами, ходят по крышам; день—ветренник, белый свистун:—

— дымолет вырывался из крыш вертолетом, ввиваясь во все перекрестки Москвы, развевая подолы и шубы по белому воздуху, брызгая снéженью; да: и неслись сквозняки в ветрогонные дни, где измеркшие полдни тенились туманною грустью; сырой, многокапельный желоб закапает: капает, капает, капает!..

. . . . . .

Мамочка руки свои разведет (с полотенцем—одна и с флаконом другая); и—кланяется головою в колени:

— «Да, это вот я понимаю: квартира в двенадцать и более комнат; у прочих—квартира в двенадцать и более комнат, у нас же»—

— граненый флакончик поставлен; берется—граненый дракончик!

— «Да, это вот я понимаю: балы!..»

— «А у нас?»

— «Собирается мертвая плесень: плешивая плесень... Кого соблазнять? Разве моль...»

— «Да!»

— «Сложив на животиках руки, забегают пальцем о палец, как этот Бобынин...»

— «Что толку?»

— «Лобанисты!»

— «Лбами мостить мостовую?»

— «На это есть камни».

— «А волосы с'едены молью: присыпать на плешь нафталин? Даже мухи замерзнут от скуки,—не то, что я, бедная...»

. . . . . .

В папиной комнате—серосвинцовые сумерки; серенький папа, слепец и глухарь, в нависающей сери над пылью сукна неприятного, серозеленого цвета, зачмыхает носом, тихонько поднимет глаза и уходит глазами по крышам: во мглу дымогаров; и—снова заходит по листикам он карандашиком; с крыши, под тучей широко распучилось очень жестокое око: циклопа; и—лопнуло кровью; и вниз излилось: чернобровое небо в окошке:

— «Иные вот, пользуются очень доходной казенной квартирою,—да: академики!»

— «Если бы подлинно был у нас лоб, а не камень, давно бы мы жили не здесь: на Васильевском!»

— «Да, это—я говорю...»

— «Чебышев—академик, а Янжула—прочат; за Янжула кто-то хлопочет. Из Питера...»

Книжные груды бросают от окон на папочку тень, точно руки; и вот занавеска, которой покрыты шкафы, опустилася лопастью (папу подглядывать, не академика, а—«нафталинную плесень»); она опустилася, точно гусиная, или, верней, ящериная морда,—не лопасть:—

— зеленый дракон, обитающий здесь, на шкафах, опускаясь гусиною мордой со шкафа, наверно решился подглядывать папочку, что он там делает над интегралом.

Сутулые плечи не дрогнут: лишь стул поскрипел, да нога незаметно дрыгнула:

— «Страдалица я: предводительский бал на носу, а в чем выеду я? В кружевном, в переделанном?»

— «Некоторые полагают, что так: накромсать лоскутов; и—поехать... Лепехина—сшила... Лепехин не мы!»

Оторвавшись от пыльных бумаг, он покорно уставится ухом на дверь, выявляя свой добрый, свой песий, чуть чуть озабоченный профиль:

— «Послушай, Лизочек: Лепехин—делец... Не, мешай, мой дружок, вычислять»—и покажет сутулую спину, уткнувшись в бумагу; но мамочка, в беленькой кофточке, вскочит, совсем раз'ярясь; и топочет от ширмы в слепой кабинетик, развеяв рукой полотенце с высоко воздетым граненым флакончиком:

— «А?»

— «Вы работаете?»

— «Мне какое до этого дело?»

— «Лепехин работает тоже, но он—на семью; у Лепехиных выезды...»—и начнет подставлять под струю рукомойника красные грани граненого донышка; брызжет водица холодным, перловым разбрызгом; и дзанкает звонко педаль рукомойника; папе подставлен тюрнюр.

Уронив карандаш, он подскочет; и—дернется в нетерпеливом движении к лампе; и—«дыдзики» громко воскликнула стеклами лампа; и чифучирится спичка; и выскочил рыжий оранжевый свет, расплетая сплетенье летучих мышей; мыши порхнули в угол (не мыши, а тени); но спичка погасла:

— «Ах, чорт возьми!»

И—из углов вылетают летучие мыши над папой, который горбато метается по-столу: спинником!—

— Точно стараясь укрыться от громких упреков; а мамочка, топнув ногой, повернется развеянной кофточкою, обнаружив открытую грудку с нечесаной шапкою полураспущенных кос, рассыпающих шпильки;—

— и вспыхнула лампа (надет абажур); и—оранжевый свет побежал по сукну, полосато улегся на желтых, вощеных квадратиках пола; и бывшее серосвинцовым и серозеленым теперь превращается в яркое все: в шоколадно-оранжевое и в зелено-оранжевое (шоколадного цвета обои, шкафы; на шкафах—занавеска зеленого цвета; зеленого цвета сукно—на столе); и я вижу сутулую спину лохматого папы; и вижу затылок, упрямый тяжелым решением: перемолчать что бы ни было, или же—лопнуть; и слышу: из громкого ротика в спину ударится жужелжень желто-оранжевых ос:

— «Есть такие вот, некоторые, которые...»

— «Не имея ни сердца, ни чувства, сидят, погружаясь в дурацкие вычисления эти...»

Забарабанили пальцы по краю стола—

— тарарах-тахтахтах!—

— Очень дерзко и твердо: отчаянным вызовом; но—

— топ-топ-топ—

— побежали к спине очень твердые ножки и, выпятив гордый животик, нарочно стояли такой раскарякою; локти гуляли; перстиралась у сердца протертая пробочка; пенился ротик от всхлипов и выкриков:

— «На те же: вот вам!»

И плюнула на-пол...

. . . .

— «Ага-с: хорошо-с!»—

— повернулось лицо с очень злыми, раскосыми глазками, с очень взлохмаченной вдруг головой:—

— так и пес: загоните его в кануру, он—покорно свернется, под хвост положив свою морду; но там, в конуре, не дразните его: с громким лаем он кинется—

— да: повернулось лицо с очень злыми, раскосыми глазками, с переклокоченной головой; и—распалось в морщины лицо с очень злыми татарскими глазками; стало совсем, как сморчок, угрожая колючей щетиной; и стало дырой, из которой вдруг хлынули:—

— не-
- ко-
- то-
- ры-
- е-
- ко-
- то-
- ры-
- е!!....

. . . . . .

— «Ах!»

— «Вы—тираны!»

— «Вы—деспоты!»

Вижу я: мамина правая прядь развернулась; и—свитым кольцом нависает; а левая прядь раззмеилась на плечике; рот—растянулся от страха и злобы; пятно лицевое—медуза, которая шлепнется; губы—накусаны, губы отпухли кроваво; она—отступает от папы, которого красная маска лица, разлагаяся, озеленела; которого пятипалая лапа протянута:

— «Если не смолкнете...»

— «Я...»

— «Вас заставлю молчать».

— «Я—даю пять минут»—

— и положена тяжеловесная луковица часовая: на край рукомойника.

. . . .

Мамочка спряталась в тени, отшлепав к алькову и взвизгнув оттуда собачкой, которую пнули:

— «Не позволяете мыться, насильник: мой, мой рукомойник— не ваш!»

Но ответствует кто-то с отчетливой злобою:

— «Так-с!»

— «Умывальник поставлен не мною ко мне!»

. . . . . .

О, я знаю, что будет: ужасное будет!

Некоторые, которые... ничего не боятся, которые обрывают министров и топают на попечителя Округа и превращают Пафнутия Львовича просто в котлету (сырую и красную), некото-ррр-

-ррр-

-ррр-

-кото-

-ррр-

-ррр-

-ррр—

— Законодательством страшным, Синайским—

ррр-

-ррр—

— перерявкают мир, перетявкают, пере...—

— иные боятся оттенка чудовищно-рыжей, таящей в себе шаровидную молнию, тучи, которая посылает не грохот, а прямо за красною молнией,— «бац», расщепляющей сосны под домом,—

— а я ужасаюсь молчанию этих пяти проползающих тихо минут

— («Я даю пять минут!)—

— где, секунда есть Вечность; и—затыкаю, присевши на корточки, уши— до... до... до... —

— до чего?..—

— Между тем: до... до... до... до «того» (того самого!): «некоторые, которые»:—

— в воздух взлетев пиджаком припадают увесисто на бок, на левый, лицом разлагаемым черной морщиной, щербимой китайскою тушью, и оттеняющей старый мертвак

неживого лица с разорвавшимся ртом, до ушей, и с прищуром, раскосых глазенок, окрашенных суриком,—

— напоминающим маску лица Самурая, взмахнувшего саблей,—

— его показал Хокусай!—

— Эту маску лица Самурая, взмахнувшего саблей—

— являет лик папы, припавшего носом к руке, зажимающей... ржаво-оранжевый гвоздь, чтоб ударить гвоздем оглушительно: в жесть рукомойника!—

— Этот прием он придумал; прием укрощенья строптивой, которая звуком гвоздя... повергается в обморок: головою в подушки; и—тонет от слез...—

. . . . . .

Протекают минуты до... страшного «баца», и ухает в красно-оранжевый свет кабинетика тьма, из открытых дверей, где отчетливо-желтое кружево злого, фонарного света легло... саламандрою; мама оттуда поносит (не долго ей!) всех: математиков, бабушку, дедушку (папу и маму—не маминых: папиных...) всех четырех моих теть и шестнадцать племянников; я затыкаю от ужаса ручками уши и носик, упавши коленками на пол; и кланяюсь:

— «Господи, Господи, Господи, Господи: Ты—пронеси, пронеси, пронеси! Ты спаси и помилуй, спаси и помилуй, о, Господи, Господи, Господи, Господи!»—

— вдруг: я, обвеянный клубами рыжего ужаса громких китайских Тайфунов,—я слышу сквозь пальцы, которыми уши заткнул:

— «Остается—пятнадцать секунд!..»—

О!

О!

О!

. . . . .

Открываю глаза; вижу—

— бац!—

— упадает нога, голова и рука; нога—на пол; рука—к рукомойнику; и пережавленный до-желта гвоздь ударяет о жесть рукомойника:

— «Бац!»—

— Из раз'ятого рта выбегает кровавый язык своим загнутым кончиком; в воздух слетают очки; и дугою взлетает платок

носовой из кармана; «он» бегает спи́нником, вертится, машет руками, и бьется оранжево-ржавым гвоздем по железной кровати, по тазу, по жести;—

— своей пятипалой рукою схвативши зажженную лампу, стоит с этой лампой, стараясь и лампу раздзызгать о пол и закракать стеклянником, взвеявшим черно-кровавое пламя и копоть, чтобы просунуться в пламя, пропасть в клубах копоти...—

— Лампа рукою опущена снова на стол; и наверное:—

— нет кабинетика: в красных кругах разлетелися стены:—

— и папа;—

— копьем свирепея, затиснувши круто ногами мохнатую лошадь, на собранной коже, в раздолье далекого прошлого гонится—согнутым скифом: за персом; вернее: за кожею перса! И пламенем лопнуло солнце; и степи дымят перегаром; и перс от него удирает, прижав свою голову к гриве коня, перекинув за шею косматую руку с протянутым кожей щитом, на который вдруг звукнул удар пудового копья, раздробившего щит и к загривку споткнувшейся лошади перса пришившего: проткнутой шеей.. —

. . . . . .

Когда я очнулся: то—кабинетик был заперт; и было молчание:—

— только в трубе завелся этот ветер, опять зажужукавший трутень: опять завелся этот дудень: средь дующих будень: летим в—

— в ве́ретенники дней и теней: без огней!..

СКИФ.

— Да: —

— во вращениях времени: —

— пленное тело, галдя, оголтело; а в облаке пыли: обличье сутулого скифа, согну́того в рыжие пыли, копытами взбитые, трясшего красным, оранжевым древком из дремлющей древности, дико оскалясь, — скакало, скакало (за персом, мерцающим митрою): —

— скиф-же — босой, толстопятый, в исплатанных, старых штанах, обвисающих с кожи не содранной шкурой,

косматый, щербатый; зеленый и бабий живот, выпирающий выше штанов, улыбается пупом в косматые ребра, откуда болтаются слабо обвислины: —

— прянно несло одуряющим запахом: тминными травами; взвизги копья через воздух, — дугою; и — шеей приколотый перс, прилипая к загривку, безумный от болей, блистающий золотыми металлами митры, — и скачет, и плачет; а красное солнце, садясь в перегары,—коричневый круг: густота, темнота; только топают ноги коней, бременея во времени; только колотятся в облаке пыли два тела, сутулые: — косоглазого, дикого скифа, кричащего ярым оскалом, и мертвого перса; —

— и — да: временами писалась
большая дуга: —

— уплотнением пыли связалось скакание; плотная пыль — мое тело; и скачет под грудкою, скачет в головке; и я разрываюсь в скаканиях мысли, в скаканиях сердца: —

— так в теле: —

— в моем! —

— совершается бег по минутам: и мертвого перса, и дикого скифа; копыта колотятся; в грудке — ростущий комочек, кровавый комочек: мой скиф! —

— посылающий красными копьями сонных артерий отраву; и от нее переливная пестрень персидских орнаментов мысли, перемеркает туманными массами в матовый, в мягкий, —

— в мой! —

— мозг!..

И свинцовыми болями скачет мертвак по головке...

. . . . . .

Картина, которую видел я, — папа с гвоздем, — поднимает огромный обломок былого: —

— о, вспомнилось! —

— папа горящею лампой однажды поджег занавески, склонившись над массами книг, у окна; стены вспыхнули ярко, но он, оборвав занавески, своими совсем тупоносыми пятками перетоптáл прилипавшие к полам халата багровые клочья в суровую сажу; стоял, перемазанный сажею, в саже; и, очень довольный, смеялся на возгласы:

— «Вам бы пожарную каску!..»

Так стал он пожарным!..

За этим событием памяти, чувствовал я, приседает другое событие — древнее, древнее: в ярости пламени —

— вспомнились —

— вящия ярости: дикие, скифские!

. . . . . .

Все, что ни есть, обвисает: бумагой, обоями, слетными шторами, шопотом штофных материй; и все превращается в кружево копоти после того, как из лампы, которую не привернули, забьет в потолок керосиновый, красночерный, пфуфукнувший столб: —

— истлевают во мне паутинники, волосы, войлоки нашей квартиры в кровавый пожар; и взлетает, как занавес, вспыхнувший морок обставшего, — в прошлое: вижу — из пыли, из тминников: скифа и перса (борьбу их во мне)! —

— вот затопал комочек под грудкой; и — к горлышку; жила на шейке колотится; екнуло в ребрышке —

— жду, что —

— взовьется глухая стена, как подлетная штора, мягчайшими красными складками в красном луче пронизавшего лобик копья: обнаруживать ужасы множества тлеющих комнат, ширеющего от меня, как ущелье; в просторы туда — прохожу, мимо стен, развороченных, метко рассеченных красными кирпичами и справа, и слева: туда — в мое прошлое, —

— вижу —

— стенные проломы, окрасились солнечным хохотом, бьющим из далей, распались в ваянные, голованные лбанности басом болтающих каменных баб, разорвавших губанные рты; отболдела направо какая-то злая башка и двулапо схватилась над каменным, пузом, как глупая тумба, безпалыми ка́мнями; вижу налево: уставился кто-то продолбленным пупом; и — кажется ярко-оранжевым, ржавым, охваченным пламенем грозных костров; перешмякают щебни с трухлявого лика на мергели: —

— ки —

— ка! —

— какие то лики, какие-то кики! —

— оттуда, из красного вижу я: скифа; он

гикает дико, схватив пятипалой рукою блеснувшее в воздух копье и старается воздух раздзызгать вдруг свиснувшим, как метеор, острием, круто пишущим злую дугу на мой лобик; и кракает лобик, — разбитый стеклянник; я падаю, перс, окровавясь; на красных кругах, выбиваемых быстро из глазок, разбрызгана жизнь моя!

ПФУКИНСТВО.

В нашей квартире давно поселился «старик», прибывающий в комнаты ночью: из комнат, им замкнутых; там—кладовая, в которой я не был; туда вероятно, проходят чрез темную комнатку (водопроводчик выходит оттуда); «старик» коренится давно в кладовой—в паутиннике: Пфука! босой, толстопятый, в исплатанных старых штанах, обвисающих с кожи не содранной шкурой, косматый, щербатый; зеленый и бабий живот, выпирающийся выше штанов, улыбается пупом в косматые ребра, где слабо болтаются две полубабьих отвислины: проборадеет он жеванным войлоком, тихо открывши скрипучие двери; и —

— комнаты! —

— комнаты! —

— строются по кори-

дорному строю: —

— дичая, висят паутинники;

шлепают громко босые ноженки—туда, к старику, привалившему в свой паутинник, припавшему к собственной лапе и серой, и грязно обросшей—сосать; ковыряется ей, сжавши ржаво оранжевый гвоздь; ковыряет грибное, сушеное ухо; а лапа окована ржавым кольцом, восклицающим связкой ключей: от квартиры.

Он пфукнет, —

— как ёж! —

— равнодушно кидаясь на всякого, кто ни просунется; и от усталости быстрого бега протянет слюнявый язык; побежит через комнаты (ах, путь далек, путь далек!) до столовой, где бабушка скорбно гадает, боясь, что червонный король, или староста наш, Светославский, покроется пиками; и—ей в колени.

— «Чего ты, Котеночек?»

— «Это—Петрович!»

— «Войдите, Петрович!»

Петрович и входит.

Задохнешься в беге—одно остается: упасть, закрыв личико—лбом в паутинники: в пол; и ты ясно горячее пфуканье мокрого носа в затылок: услышишь; нет нет, не кусается...

Ночью откроется скрытая дверь; и со связкою ржавых ключей босоногий—«топ-топ» по квартире; завозится: нюхает, перебирает, ворочает, вдруг начиная чесаться ногою за ухом; и слышу я топот старичьей ноги, ударяющей в пол, и зачмоки слюнявой губы, деловито вцепившейся в шерсть; щелкать блох у хвоста меж зубами; он ищется там; и—потянет, потянет: —

— босыми ноженками топаю в прошлое; ах,—там все огненно: вспыхнут два глаза, как свечки; я, схваченный,—в диких прыжках (на спине!) с половицы—на стул, да на стол, да на дверь: по годам, повекам,—к подоконнику: вынута вата, стаканчики с ядом; повис берендейкой, повис над Арбатом; от каменных виноградин: вот желоб зеленый,—по желобу, к крыше, туда, к безотцовью: не взлезем; двенадцатый, двадцать пятый, сто первый этаж; нет и стен; только желоб — тычком в необ'ятности... кончился!

Желоб, расшатанный, вот подо мной закачается; время течет из него подо мной в расширение желоба; дрыгая свешенной ножкой, —над чем я—свалюсь, в безызвестие—ах, потому что «в таком положении» сесть! Коренится решимость: отсиживать здесь без обхвата чего бы то ни было; то, за что можно схватиться, — во мне; чтоб схватиться, я вывернусь; что же? Превысивши грани, я вышел и—сел: на тычок математики!

Я—математик, благуша—кричу благим матом. —

— И—ах! —

— оглашая «ничто» я стремительно падаю так, —

— как копьё одичавшего скифа на мертвого перса, и как звезда, прободавшая землю — раскрытое темя младенца — вспламеняется: в мозге —

— все вспыхнуло: —

— блеском свечи!..

. . . . . .

— «Котик, Котеночек мой, Котосёночек мой: что с тобою, мой маленький? Что ты голубчик? Мы—здесь: успокойся!»—болтакает что-то.

— «Ах, что с тобою?»—болтнуло.

— «Что что? Это—мы, это—мы: это папа и мама!»

Я, тихий безумок, я вижу худышку-голышечку, маму, волною волос мне покрывшую грудку мою и об'ятьем, мне радостным, жарко припавшую; вижу и папу, со свечкою: в сером халате, косматый, он пфукает, морщится заспанно так, изуверски; раскрытая грудь—волосата; на ней чуть намечена вислость—какая то полубабья; он—бекает: «Ты, братец мой, как же так, стало быть... да!»

— «Предаешься, брат, ты атавизму: переживанию первобытного человека»...

— «До свайных построек!»

. . . .

Но мама бобыней надулась на папу.

— «А я говорю вам всегда: вот плоды от науки»...

— «Ребенку играть! Ну чего пристаете к нему вы: все «с и л ы» да «с и л ы»...

— «Какие там «с и л ы»...

— «Ребенку—попеть, порезвиться, а вы с «м а т е м а т и к о й»... Он и кричит: «А ф р о с и м».

— «Это что же такое, мой маленький?

— «Кто это там Афросим?»

Безупокои ночные уходят, сменясь упокоями.

. . . . . .

Светоедная ночь об'едает мне все, даже сон; и—заводится около; и чернодумно опустится в кресло: сидеть до рассвета — глубокими мраками, мне говорящими:

— «Нету пределов!»

Везде — неизменность отсутствий чего бы то ни было; и — неизменная верность темнот, неизменная злоба пустот; вдруг — она протупеет предметами; и просинеет меж ними присутствие утра: —

— чернильные сини развеются в синие сини; и серые бесы заводятся; серые бесы уселись на спинку сутулого стула; я знаю: когда расцветет,—это будет белье; облекусь я в него: так все бесы оденутся утром, и—снимутся утром, чтоб бегать по комнатам: —

— серые бесы —
сомненья мои —
— за́цветает: облизилось все; вот и стул, и на стуле белье, дозиравшее только что мертвенной мордой; стена выступает уже над кроваткою в месте отсутствий чего бы то ни было; и—закрывается мрак; прилепляется детская комнатка [гнез-

дышком к малой кроватке, висящей над пропастью; в гнездышке—я; чтоб оно не упало—подставился дом Косякова, а под него подставляется весь земной шар; --

— прилетели из ночи опять на Арбат!

Уже белое, белое все: Генриэтта Мартыновна там папильёткой встает над постелью.

— «Genug!»

— «Genug schlafen: neun Uhr!»

— «Ах, какое «genug»: я без сна провалялся!»

Квартира скалой выступает: потоки событий ударятся, пеной своей облизнут непробойные стены; скрипят половицы под качкою временных волн; все составы событий, увы, расстаются в нестав безбытий: лишь стены одни остаются; в пробежное время бежим неизбежно: я—с кубиком, мама—со шляпной картонкой, а папочка с новой брошюркой своей: «О радикале е-и к с»; но всеедное время грызет все, что есть, загрызет все, что есть: будет нечего есть! Семиноги недель пробегают стремительно; громко скрипят половицы под тяжкой ногою: то время проходит все туже дорогу: хромает часами на черную ногу; и все оседает под действием времени: пол, доктор Пфеффер, живущий под ним, Пильс, кондитер, живущий под доктором Пфеффером; дом Косякова давно оседает; под ним оседает земля; надувающий ветер погромом проходит по крышам!..

Да все изменяется в ветре и времени: более всех изменяются люди; предметы—прочнее; но им я не верю: —

— поблескивает позолотой картина Маршана—резьбою украшено кресло; но в спинке—дыра с пропирающим зубом пружины и с войлочным волосом; за позолоченной рамой—пылища; пьянино, откуда звучит—это все, отодвинув, увидели доски; а то, о чем пелось, и что накричали под пальцами клавиши,—где оно, где? Коленкор? Да он порван... Игрушки, в которых мне виделась жизнь, как в малиновом клоуне, щелкавшем в бубен, когда нажимали на грудь,—оказались набитыми: волосом, войлоком, —

— как и малиновый клоун
набит этим войлоком! —

— Что ни сломаешь,—увидишь пружину, которую я вынимал отовсюду, ломая игрушки.

О, серые бесы,—сомненья мои; недобудно коснею я в вас!

. . . .

Любопытство мое оттого, что не верю я сказке предметов; и—знаю, что за картиной Маршана не дали, а пыль на стене; за узором обой—безобойные стены; и то, что приставлено к ним, отлетит и иначе расставится, как кабинетик, который явился в том месте, где были постели: две рядом; перелетели предметы; и мамочка спит в комнатушке при нашей гостиной, распространяясь в гостиную и выгоняя оттуда захожего папу:

— «Идите отсюда: чего вы слоняетесь!»

Помню:—

— проснешься: столовая—здесь, а гостиная—там; это—мамочка: все-то она суетилась, перетирала, меняла, покрикивала, перегоняла меня, Генриэтту Мартыновну, папу из комнаты в комнату и заставляла надеяться, что наступает теперь, после всех изменений—прекрасная жизнь; оставалось по прежнему: волосом, войлоком, пылью и псиною; псиною пахло разлапое кресло.—

— Напрасно старается мамочка все украшать очень сложным составом предметов, обильно свезенных с Кузнецкого Моста; составы предметов—нестравы: распались!

. . . .

Два важных события в жизни предметов я помню; атласная мебель протерлась: ее просидели; мотались оборвыши; грязная вата торчала; в местах, где обычно профессор клонил седину, обозначились темные пятна его непромытого волоса; тут появился закройщик с Кузнецкого Моста: и показал лоскуточки материи; нравился синий, с глазочками; но—заказали оливковый; перебивали материей кресла, оклеили стены; нарядно висели густейшие шторы оливковых, темных оттенков; а кресла нахмурились новым атласом; такие же точно обои глядели со стен; был повешен тусклейший зеленый фонарь, освещавший все это рассеянным светом; нарядно, но—пасмурно; цвет надоел: я грустил о пунцовых обоях, о прежней обивке; я помнил пунцовый сквозной абажур, с черным клювом, с совиными глазками; отблеск пунцовый дробился в паркетах,—не этот, зеленый и бледный; теперь вот войдут; и—померкнут зелеными лицами; смотрят зелеными лицами; кажется мне: с появленьем оливковых кресел—нахмурилась мамочка: красная сказка предметов померкла в зеленую прозу:—

— Напрасно старался утешить—Иван Николаевич Горожанкин, заведующий ботаническим садом, когда подарил неожиданно он тростники, рододендроны, фикусы, пальмы; обставили нашу квартиру горшками цве-

тов; что же—пальмы хирели с немых подоконников, напоминая: все—бренно; все—войлок и волос!

— «Так—да: так и все... Николай же Ирасович—то же вот: пыль,—так и все!»

— Это—Пфука.

. . . . . .

Гляжу в коридорчик; он—кажется мне подозрительным местом; уж сумерки: сели все крыши в темнейшие ниши; грызунчики-мыши—играют все тише; из коридора опять принялся к нам заглядывать... Пфука:—

— выходит, садится на спинку сутулого стула; когда рассветет,—обернется штанишками он; иль—рубашечкой станет, да, да: эти бесы—одежды; оденутся утром; и—снимутся вечером; будут по комнатам бегать они, повисая чехлами и... мертвенной мордою; и я кричу:

— «Афросим»—

— непонятное слово, ключ к тайне, смыкающий жары и шар!

Расширяется жар по ночам, развивается очень отчетливо шар—по утрам: географией Индии, Персии, Скифии; шарик земной—жаровой; жар ночной—шаровой:

— «Афросим!»

Уверяли меня, утешали, что нет «Афросима», а есть «Афросинья», «Петрович», «мужик»; но я знаю: то самое расширение органов тела без кожи, в сплошной неохватности,—не от Петровича, не от Антона (Антонов огонь—это что!); нет, «м у ж и к» не причем:—

— знаю: желоб, которого не одолеешь сто тысячу лет: позвоночник; я полз от червя до гориллы до... до... расширения шара: моей головы, на которой пытаюсь усесться; и падаю вновь: в допотопное прошлое.

Слышал от папочки:

— «Перевоплощенье, Лизочек,—гипотеза древних, согласно которой, мы, так сказать...»

— «Индусы—верили и Пифагор признавал; и я, знаешь ли, так сказать!»—

— Нежно глядел за окно: на персидские краски павлиньих закатов:—

— вселенная, мне подпиравшая пяточки, тут отставлялась; я—жил без подпоры; ударные мнения папы о маму, и мамы о папу

(— «Перевоплощение—вздор!»)—

— превращались в толчки двух свинцовых шаров, быстро пущенных справа и слева по слабому пятилетнему телу: сплошные раздавы!

Я—выдавом бреда был выперт в закожное; и ощущение гибели—крепли: в крушенье устоев—физических, нервных и нравственных; поколебалась «зависимость» мне в независимость: да—и пустую, и черную.

Этот тычок в «никуда»—преступленье.

. . . . .

Сырой, многокапельный желоб—закапал; и—капает; из желобов слабым треском везде вылетали сосульки; халвели снега, прорыхали; полозья, как ножики, резали прямо до камня; пошли сквозняки в ветрогонные дни; снегопады сырели.

. . . . . .

Так стал независимой переменною я, несогласный с законами папы, что силами тяготения дом не летит вверх тормашками; ночью летаем мы все вверх тормашками, ширясь; закон тяготенья не действует; все разобщается, не тяготея ни к папе, ни к маме (шлепками се я отшлепнулся прочь).

Началось—разобщение:—

— американец, сидевший над нами, себя ощущал очень крепко, а мы,—разобщенные,—падали крышею дома на пламень созвездия Пса...—

. . . . .

— «Афросим!»

Просыпаюся—

— склянное, синее утро; живые огни—на снегах, как посыпанных битым стеклом:—

— просыпаюсь со смутным сознанием:—

— разум не нужен; без правила, грани, вины—ощущаю себя: все же я виноват; во мне крепнет сознанье: «вины без вины».

Вспоминаю:—

— зачем это папа кричит на меня, когда я с перепугу запутаюсь в мыслях о маме, которая может проснуться; послушаешь,—ты виноват; не послушаешь,—ты виноват:—

— виноват без конца; виноват и один: виноват—до конца, виноват без причин!..—

— И за все тебе влепится звонкой пощечиной!

Я угождал, проживая в сплошном беззаконьи; выпискивал маленьким ротиком выдумки, чтобы скорей, оторвавшись от этих зловещих миров,—отвертеться от орбиты: кануть—

— в развитие: эдакого какого-то своего—

— моего!—

. . . .

Вот к полудню рисуется вычертень золотоливною струйкой, к полудню взрыхлеет; и все прослезится; и все—брилиянтово станет, чтоб вечер покрыл закорузлою пленочкой; хряскает ярко-ледяная рдянь под ногами.

А то—моросеей и мягкой мокриной прослякотит улицы слабый февраль; желто-ярый туман прилипает к окошку: а папочка шепчет Дуняше:

— «Вот вам: наша барыня—от нездоровья, от нервов!»

— «Обидно-то как-с!»

— «Потерпите: вот вам».

. . . . . .

И мне нить преступленья ясна: эти—«нервы» последствия трудных родов; беззаконие я учинил перед мамой, явившись пред нею; и после: вселил я раздор между нею и папой; преступно—самосознание:—

— вечно казаться незнающим!—

— Да: и узнай это папа,—он рухнул бы вниз головой, с кабинетиком: семь же шкафов, ударяя в глухой потолок, проломили б отверстие; папа бы с томиком Софуса Ли, математика шведского, рухнул туда:—

— в свои черные пропасти!

. . . . . .

«Некоторые, которые» — пропасти: сил разобщения; «гвоздь»—беззаконие; я до него дохожу, вылезая ногами: свергать все устои и опрокидывать правила;—

— пфукает Пфука во мне; проходил, приходил: головастой гориллою, скифом (—«Перевоплощение, мой Лизок, так сказать!»); нанялся в родовые, в родные и в скотные, стал—родовым домовым;—

— да!—

— Он папою в лапе отчмокав, зачмокает мною во мне; очевидно: вселенная,—«пфукинство!»

. . . .

— « Э, да жарок появился!»

Кислятится слякоть; все кашляют; кашляю я; ждут Смирнова, домашнего доктора; тельце—горячее: в жилах, в ушах очень явственно: шукает, пфукает; жду я, что Пфука—босой, толстопятый, в исплатанных старых штанах, из дверей коридорных просунет свой войлочный волос; и кажется мне, что зеленый и бабий живот, выпирающий выше штанов, барабанно баранит тупым, глупым пупом.

Звонок: два звонка (и в дверях, и в ушах)!

Это доктор Смирнов; он вбегает ко мне: старичок—желтечки под усами, а—как тараторит!

— «Не говорите» мотает он лысой головкой—в очках, в золотых:

— «Э, да что! Да-да-да, да-да-да, да-да-да!»

Рубашенка подкинется, и — головою прижмется к горящему тельцу: трубою приткнется; и «т у к и» своим молоточком проводит по телу:

— «Вздохни-ка... Еще... И еще... И еще: глубже, глубже: так... так... Ага!»

Помотает головкою, перебегая от тумбочки к столику: пишет рецепт; прописав, веселейше прихлопнет в ладоши:

— «А ну-ка, брат: ну те-ка; ты-ка касторки: касторки сперва», подопрется рукою с трубою в почтенную талью; другой соберет белый клок бороды, поднесет его к носу; и фыкнет задумчиво в клок бороды:

— «А потом: тут вот-эдак клееночку; и на клееночку, эдакую вот, тряпочку... Вчетверо надо сложить, выжать воду... И ваткою, ваткою сверху... Держать три часа...

— «А потом?

— «То же самое делать!..»

Запросишь:

— «Мне кисленького...»

— «Ни-ни-ни, ни-ни-ни, брат: ни-ни, ни-ни-ни...»

Тут обступят Смирнова: и папа, и мамочка.

— «Что?»

Он—заморщится, заморгает и перетрясом головки с «*ээ, ээ*» он прокислится желто-лимонной гримасою, вскинув на папу очками:

— «Ээ, форррменный брронхит!..»

И—тотчас же: безо всякого перерыва:

— «А ты-то—что, брат?» (Он товарищ по классам: как встретятся, так принимаются «т ы - к а т ь с я»):

— «Я—ничего», тыкнет папочка «ты-то вот—как?»

Перетыкнувшись, друг перед другом они остановятся; и не умеют сказать ничего, кроме:

— «Ты-ка, брат, ты-ка...»

Смирнов упомянет про Бисмарка:

— «Три волосинки!»

И глазки опустит: мычит и пыхтит (пересказано все: перетыкано; не о чем больше); и хватит ладонью в ладонь, как испуганный, выстрелив возгласом:

— «Ну, брат, прощай: брат,—больные, больные!..

Схвативши картуз (он ходил в картузе), запахнувшися в шубу, мотая седою бородкой и эдак, и так, как ошпаренный выскочет он с...:

— «Да-да-да, да-да-да, да-да-да... Не говорите мне: три волосинки, и—все тут... да-да, да-да-да!

Мне уж легче; и всем как-то легче; естественно: «ф о р р р м е н н ы й б р р р о н х и т!»

«Да-да... Чтобы кислого; ни-ни-ни-ни; чтоб клееночку, ваточку; тряпочку».

Все—исполняется; и говорят про Смирнова:

— «Сергей, вот, Васильевич: все он такой же; и весел, и бодр: холостяк и простяк».

— «Да, Сергей, вот Васильевич: он—веселейший, простейший; и—умница; вот за кого бы отдать нашу Дотю: интересовался ведь...»

— «Да, но она—фырк-фырк-фырк!»

Мне приносят капсюли; откроешь,—капсюли какие то липкие; смотрят глазами, в бумажечках, как от конфет; уже знаю дотронешься; так и—начинает капсюля: глазами вращать!

Вспоминаю:—

— такие глаза—Докторовской; касторовыми глазами вращает на очень красивого Грота она; и противлюсь: противно; касторовый глаз Докторовской и сладко, и липко мне давит язык; проглотить не могу; и он—лопнул во рту; что тут было!—

— Я принял его,

когда папа, ввалившися с новым стишком, сочиненным по этому поводу, мне прокричал его в ухо, пока я капсюли глотал, улыбаясь слезинкам:

Все—напрасно: ах, ужасно!..
Ах, касторовое масло!
Что за слезы? Что за вид?
Все—напрасно! И прекрасно:
Котик—ясно: это масло
Прекращает твой бронхит.

Не напрасно мне папочка пишет стихи: ими он созидает огромную мощь надо мною; он—мощный: таит; я—прочел эту тайну; и с'ел—то, запретное; круглый комочек колотится: яблоком—в горлышке, пучась ночами, ломая мне грани, развитием древа, с вершины которого кушают яблоки.

Пал, как Адам, вызывая догадку у мамы (она—проницательна); вот она входит к больному «развитием» (входит ко мне); и попробует лобик:

— «Жарок еще есть!»

И на ней — крылорогая шляпа; и — в черной вуали, в своем чернопером боа, в черной кофточке, в черных перчатках, с не очень широким турнюром проходит в переднюю, осведомляяся, где нафталин: скоро спрячется зимнее; шубы отправятся к Белкину, — на сохраненье, от моли.

Мне кажется: мамочка пробует лобик не потому, что — жарок; потому, что растет этот лобик (шарок этот лобик); —

— все то, что является днями, как круглый и твердый шарок, то, ночами — жарок; и жарок — от «р а з в и т и я:» —

— Семячко зрелой антоновки, пахнущей папою, бухнет, ломотою лобика: ломит мне лобик, ломает мне лобик двумя роговыми ветвями; вот — кончики веточек —

— рожки —

— прорежутся!

Ах, обнаружится: яблоко — съедено!

Веточки — прячут; но листик один обнаружен: он — фиговый; вырастет, вырастет фига; и стало быть; дело не в книге, а в фиге (под книгою).

. . , ...

Дунуло теплою ветренью; снеги промякли; окапалась улица; мокрые стены казались древнее, роднее и меньше; так бросило в слезы Арбат; закрепилось крутой гололедицей; месяц, простой умеркатель, стал ясный мерцатель; тянуло из воздуха мартом; закапали дождики.

Месяц весенний пришел ледо́рочею рдянью, которая днем — разливанные лужицы, вечером — пленки и пленочки льда и хрупчайшие крылья стеклянных стрекозок, и висень сосулек; на сухости чаще сыреют темнейшие плеши; и нет уже белого снега, а — желто-

коричневый, желто-навозный; бегут в три ручья — в проходные ворота: бумажки, коробочки, вынос песка со дворов.

Наконец, я поправился: и — мы выходим гулять, в первый раз... Где снежок? О, как все изменилось!

Люблю наблюдать подворотни весною: —

— и знаю, откуда что вытечет: с этого дворика будет сочиться чистейшая ясность; из этого — мутная, бурая жижа; сольются: и муть просветлеет, и ясень буреет; а от Гринблата выносятся: семь цветов радуги; если увижу я радужный круг, это — значит: он вытек из дворика, принадлежащего к белому дому, Гринблатову.

Март: да, на улицах ходят в обновках; и барышня в синенькой кофточке ясно колышет своей краснокрылою шляпой, в седой вуалетке, развеявши ранее сроку малиновый зонтик; идет молодой человек в очень желтом пальто, в очень красных перчатках и в новых калошах; да, все — стали куцые: шубы исчезли, хотя под ногами еще шоколадная грязь, примерзая, становится бледною твердостью; розовы щеки; и розовы носики барышень; белые зайки, висящие кверху ногами у входа в мясные, исчезли: висят только серые зайки — глядят окровавленной мордочкой; запахи дыма и гари сменилися запахом тухлых яиц; зеленные лавчонки воняют капустным листом; продаются моченые яблоки.

В доме счищают замазку; и — грохнуло, затарарыкали: хлопоты топотов, ропоты рокотов громких пролеток, которые медленно тащутся после летучих саней; у извозчиков выгнуты спины; и всюду шлепки: липкой грязи.

А там — самовольный дымок самобежно проходит барашками в небе; и — голос разносчика:

— «Свежие яйца» —

— врывается в форточку...

. . . . . .

Ах, как позорен поступок — мой, собственный: съесть втихомолку селедочный хвостик: с судка!

— «Где селедочный хвостик?

— «Дуняша?»

— «Опять!»

— «Безобразие...»

Мама кольцом с бирюзой — бирюзою как шваркнет о столик: и вот — бирюза от кольца отлетела (кольцо будет отдано в чинку, к Распопову, мастеру дел золотых, — на Арбат).

— «Генриэтта Мартыновна» мамочка тут развела свои руки и бросила голову — перед собой, к Генриэтте Мартыновне.

— «Вы, можете быть?»

Глазки (пьявки!) — впились; Генриэтта Мартыновна бросила в скатерть салфетку, порозовев еле-еле;

И — в слезы:

— «Nein, nein!»

— «Gott sei dank!»

— «Еще я не дошля до такови!»

И — вышла из комнаты; тут вот во мне что-то екнуло: я то — дошел! — Мне представилась участь моя: —

— Мама быстро ко мне подойдет, и за ручку меня больно дернув, подтянет к себе, отпихнет, помахает руками:

— «Воришка: селедочный хвостик — украл!»

И схвативши гребенку, гребенкою примется кудри отчесывать, чтобы открыть большой лоб; а на лбу-то — направо, налево — растут желвачки, то есть, рожки:

— «Смотрите!»

— «Любуйтесь!» —

— Так ясно представилось мне; между тем: папа, пальцами забарабанил по скатерти:

— «Ты, мой Лизок, — ты напрасно: ай, ай — как же можно... Девица из бедной, лифляндской фамилии, — и... подозренье... Селедочный хвостик!»

Но мамочка, шейку, прижавши, и выдавив свой подбородочек — уф:

Пуф-пуф-пуф!

— «Вы — не путайтесь: съела-ж она двадцать пять мандаринов недавно; вошла я — взялась за мешок с мандаринами: кожа да косточки! Где мандарины? Искала, искала: Дуняшу ругала, ругала; она — и призналась: «я — скушала.» — «Как, говорю, — двадцать пять?» — «Да: сначала один; он — понравился; после — другой; так один за другим я и скушала. Вы извините пожалуйста.» Я говорю: «Как же вы не больны?» — «Ничего!» Отвечает.

— «Пожалуйста вы уж не путайте: знаю, о чем говорю»...

Папа руки развел, да как грохнет от хохота;

— «Как, двадцать пять мандаринов?»

— «Ха-ха-ха-ха-ха!»

— «Без холеры?»

— «Могу сказать...»

— «Да!»

— «Удивительно ограниченная натура...»

Забыли они о селедочном хвостике; я — не забыл; и — упал маме в руки.

— «Я... я!»

— «Что такое»?

— «Селедочный хвостик: такой показался мне вкусный»!

— «Так — ты?»

— «И — ни слова?»

— «Тихоня!»

Но папа, вскочивший с салфеткою, бросился прямо ко мне; и в ладони свои защемил мне головку:

— «Ах, как же-с!»

— «Селедочный хвостик!»

— «Оставьте ему его хвостик!!»

— «Оставьте селедочный хвостик!!!»

И мама оставила.

. . . . . .

Стал я «тихоней,» — о если бы знала она, в какой мере!

И так она что-то косилася (чуткая)!

Папа не знает, что быть нам друзьями нельзя: развиваться мы можем без мамы — не с мамой: украдкой; и папа — не знает, что развивания вредны мне; грешные чувства приходят; по этому я развиваться люблю, понимая, что яркая бабочка крылья свои развернула из кокона; из зоологии Бера читал это папа, который читал для себя одну книжку: наглядного обучения; и научившись наглядно учить, обучает наглядно меня: зоология Бера у нас появилась; вот он пригрохочет, почешет себе под губою изогнутым пальцем; и — воздух вбирая сквозь зубы, как сладкий сироп, указует рукой на картинку гигантского дуба; и — станет румяным проказником: голову выгнул и, смотрит, поставив два пальца под стекла огромных очков: и — ноздрит, и — сопит: —

— а на срубе гигантского дуба — площадка; мужчины и дамы танцуют на срубе...

— «Ти-ти» — ковырнет носом в воздухе — «ти: вот-вот-вот!»

— «А, скажите пожалуйста!»

— «Дерево!»

— «Американское!»

— «Вот так уж дерево!»

Перевернувши страницу, подпрыгнет на стуле, разводит ладонями в воздухе:

— «Вот, братец мой, — так скандал: цепкохвостая, знаешь ли ты, обезьяна» играет словами он.

— «Ну — повтори.»

Повторю:

— «Цепкохвостая!»

Нос, как лягушка, запрыгает:

— «Каменный это баран: он бросается, шельма, с откосов, себе на рога».

Переполнен зверями рот папы (и я — озверючился); весь он — зернильня; головка моя — острый клювик; она — наклевалась зерном-зерном знания; мама из спальни кричит:

— «Вот!»

— «Сюда!»

Она — знает, что это развитие — «п ф у к а»; оно — родовое, домашнее, скотное; ходит по жилам моим; буду — «п ф у к о ю» я; буду днями, надевши очки, вычислять, а ночами — топорщиться, ширяться; буду — «м у ж и к» — толстопятый, косматый — показывать бабий зеленый живот, выпирающий выше штанов, и косматые ребра, где еле намечены две безобразных отвислины; буду ходить в таком виде к... Дуняше, выслушивая от Дуняши упреки, что ей очень стыдно... с таким мужиком.

Знаю, знаю: «селедочный хвостик» — начало конца; будет более важное — хвост «белорыбицы» от Генералова!

Будочник схватит; меня — приведут:

— «Посмотрите: с хвостом!»

Папа хмуро уставится, чтобы — дойти до «гвоздя»: до меня!

— «Ну, а этого негодяя, Лизочек, мы...»

Изгнан!

И — «р а й» водворится меж папой и мамой: пойдут в исправительном доме, пойдут выколачивать медной, ременною пряжкой «с в о е» из меня.

Когда мама дирала за кудри, одной стороной я молился за «грешницу;» ну, а другою я ведал: права то — она, что дирала за грех первородный, за «п ф у к у»; и — ночь приходила: со связкою ржавых ключей босоногий — «топ-топ» по квартире: завозится: нюхает, перебирает, ворочает, вдруг начиная чесаться ногою за ухом; и слышу я топот старичьей ноги, ударяющей в пол; и — зачмоки слюнявой губы, деловито вцепившейся в шерсть: щелкать

блох у хвоста; и босыми ноженками топою в прошлое; ах, — там все огненно: вспыхнут два глаза, как свечки; я — бе́зымень схваченный: в диких прыжках — по годам, по векам, и по желобу: лезем, не взлезем: —

— а желоб — мой рост; я — на желобе, дры́гая свешенной ножкою, явно превысивши грани — с тычка (математики) —

— Падаю!..

— «Котик, Котеночек мой, Котосеночек мой: что с тобой? Что ты, маленький? Мы это: папа и мама...»

А папа в халате — косматый (раскрытая грудь — волосатая);

— «Ты, братец мой, что же: ты эдак то вот развиваешься?»

И—шлепикам прошмякал назад, в свою комнату; слышу — ворочается; и чихает: не спится ему; чефучирит он спичкою, тыкаясь в томики Софуса Ли, математика шведского; прежде, когда две постели стояли там рядом—он спал, не читал, все бояся спугнуть мамин сон, очень чуткий; теперь кабинет превратился в гостиную спальная комната обращена в кабинетик; там возится он, чифучиря, чихая и пфукая; серые бесы заходят туда; знаю: серые бесы—бельё.

. . . . . .

Кучевые туманы, серея, завесят и небо, и землю; и время, испуганный заяц, прижав свои уши, бежит в зажелтевшую мразь.

. . . . . .

Удивителен я: одевают — в шелка, в кружева; и кокетливо вьются темнейшие кудри на плечи; и лоб закрывают—до будущей лысины; —

— Я —

— точно девочка.

Кудри откинуты: —

— лоб изменяет меня; ротик — чуть-чуть увеличен; он — дернется полуулыбкой, лукавой, друсмысленной, а из бессонных глазенок, прищуренных, севших в круги, отемневших, огромнейших орбит проступит глазищами —

— празелень: страшная!—

— Локоны, платьице, банты—личина: оранг-гутанг приседает за ней!

. . . . . .

Поскорее ему котелок,
Поскорее ему сюртучок
И суконные тонные брючки:
Засовывать ручки!

. . . . . .

ВЕСНА.

И все знают:—

— под розовым домом, где белые девы на каменных прочных затылках достойно держали карниз, изгибая свой торс, уходящий в плющи (под пупком) и таинственно превращенный в подставку для торса из белого камня, слагающего расширенье колонки, меж окнами, где над стеклом, из овала, показывал круглую рожицу баранорогий насмешник—

— тот дом разломали давно; в этом месте восстала громада из камня:—

— все знают:—

— под розовым домом, где девы держали карниз,—очень хлюпает; белый пузырчатый гребень у голого камешка точно сквозные, лучистые бусы: надуется множеством ясных пузыриков, лопнет; надуются новые; пена слюняво бежит от него, грохоча в водосток; ах, везде—выписной водотек; с подворотни до тумбы; мальчишки бросают бумажный кораблик в кудрявые гребни; нахляпаны кучи расколотой талости; все—перепачканы; всюду—веселый «чирик» воробьев; кто-то, весь перепачкан, бежит в котелке шоколадного цвета, промятом и косо надетом, в пальто, обвисающем старой мухрою и не скрывающем фалд сюртука, задевая подмахом руки,—не узнал бегуна: это—папочка, нас не заметивший—

— еще вчера котелок бледносерого цвета я видел на нем (его, чорный, — потерян); держал он крюкастую ручку развисшего зонтика; нынче на нем котелок—шоколадный; и зонтик—бескрюкий, подвернутый, новенький.

Март веселеет Арбатом, но слаще на Кисловке; розовый кисловский дом, как конфетка от Фельша; блестят веселее жестянки в окне Реттерэ (кофе «Мокка»): седеет мосье Реттэре; мы заходим в лавчонку напротив: поздней был здесь выставень рамок и пышных картин—«Город Ницца». Тогда его не было; не было вовсе зеленой «Надежды», которая с восемьдесят седьмого лишь года открылась тетрадками, калькомани, бумагой цветной и другими соблазнами; дамы «Надежды» встречали позднее любезно меня (та, худая, блондинка—не так, а та, полная,—очень); арбатские жители знают «Надежду»;

и знали «Виноторговлю» Попова; но кто помнит «Бурова», кто покупал у него свои палки и зонтики? Домик, где он торговал, деревянный, коричневый,—временем бурным снесен; вот—дом Нейдгарда, дом Патрикеева, дом Старикова—

— откуда—

— колбасами, чаем и фруктами дразнится «Выготчиков» (после «Когтев» дразнился отсюда); я жду: он—просунется в дверь; пригласить покупателя,—гордый двубакий, курносый, плешивый; и—в фартуке; щелкает счетами; и—дозирает за «малыми»; ах, как горит самозвучное ухо; тепло разливанное луж остывает окладами холода; огненным остовом кто-то занесся в зеленое небо. Да, март!..

. . . . . .

В марте месяце все восприятия—свежи, легки, музыкальны; и мамочка—тоже: легка, музыкальна; весенняя—

— склонится вздохом над клавишами—

— задумается; улыбнется; и—

— дон-

- дон-

- дон-

- дон!—

— раздается на клавишах.

Согнутым, малым мизинцем подкинулась ручка; и—все пролегчало; и—все—просияло; столовая наша отстроена звуком, сработана звуком; открылась для взора:—

— я видел:—

— как легкие лилии лейно летели на белых обоях; я слышал, как отзывом полнился желтый буфет, дуботелый, который обычно болдел, будоражился; и—отвечал передрогом на шаг; как стаканные звоны его мелодично ответили звукам; три бюстика высились: Пушкин, Толстой и Тургенев; буфет будоражился: бюстики падали; черным изрезанным деревом высился ящик; он выставил челюсть, закрытую черной губою; губа открывалась в певучее белозубие клавишей; и бронзовели туда и сюда откидные подсвечники; мама садилась играть—

— в васильковой веселенькой кофточке, бросивши в воздухи пальцы и падая пальцем на клавиш: садилась играть то же самое, что она часто играла, чего не

могу разобрать,—хорошо или плохо все это:—

— ага!—

— вот оно: что такое? Не знаю, но знаю, что—«это»—

— ага!—

— как раскинулось, как раскидалось прыгучими звуками, производя беспорядки, согласные все же друг с другом: весь мир перестроен теперь: перестроен и я: не узнать ничего из того,—

— что—

— господствовало над душою моею пред этим: но мама закроет рояль—

— все забуду, не вспомню: вернется назад с возвращеньем рулад:—

— откидные подсвечники маму осветят горячими свечками; мама закроет губу: черный ящик—пьянино; картина Маршана висела над ним уходящими далями (я уходил в эти дали, зажатый тяжелою рамой); легко бронзовели настенники; а над дубовым столом из плодового круга звончайше повесилась склянная лампа сквозным полушарием с тихим бряцаньем на бронзовой цепи; с ореховых крепких багетов сквозили взлетевшими светами слетные шторы; под ними пластались листья расставленных пальм: с подоконников, с окон, из белых плетеных корзин, даже с полу; с угла, к потолку, выходил раскидной рододендрон; а там—деревянная голова часовая шипела часами; под нею чернел, точно негр, удивляя карачками, ломберный, сложенный столик; по стенам и окнам равнялися гнутыми спинами стулья с плетеным сиденьем, готовые перелететь как угодно, расставиться эдак и так; и—опять разлететься под стены.

. . . . .

Открытая дверь уводила в гостиную; все здесь—оливково; стены, обои, гардины, стенные драпри, брокатель, иль обивка атласная, мебели; общее впечатленье: красиво, но как—безымянно! Все вещи тишают; здесь все — безвреме́нствует; все здесь — безвыходно, безатмосферно, безгласо; все—бе́зымень; призрак: приставлено к зраку; отставится, будет—не призрачно; но отставлять-то и некуда; призрак—стоит!

И—

— фонарь провисает с лепного плодового круга безгранником, матовой ду́тенью; вечером робко исходит утратой блекавого света; стоит между белых дверей, призакрытых оливковым штофом,

приземистый, кругловерхий ореховый шкафик: на нем—две богини, две маленьких, алебастровых статуйки, а между ними отчетливо протяжелела желтеющим золотом бронза высокой подставки дарящего свет шестисвечника (он—красовался без свечек), трехного касаясь шкафчика и поднимая желтеющий золотом жертвенник (бронзовый) в виде начала колонки, обвитой гирляндою, где витороги головы бронзовых, желтых баранов губами сжимали подборы гирлянд; на колонке росла витозлатая ваза, из тела которой мордели уродцы; листвяный металл очень-очень высокого стержня кончался цветистым златастым раздутием, бронзовым выгибом тонкого пятиветвья и тонких розеток подсвечников; верх был увенчан шестою розеткой; сплетение прихотливых извивов металла меня занимало;—любил наблюдать канделябр; и любил я оливковый мягкий диван, поднимающий спинку высоко ореховым, резаным краем; четыре ореховых, резаных морды оскалились с краю; меж ними—резьня завитков; посмотрю; и мне хочется морды куснуть: шоколадного цвета они.

И такого же цвета ореховый, резаный прочный столовый овал, поднимаемый выгибом твердых ореховых вздутий—трех ножек, обвитых гирляндой плодов и касавшихся львинолапой резьбою ковра; на нем плюшево тусклилась скатерть, свисая на ножки бахромкой и длинным оборвышем; да, я смотрел—в пестрину этой скатерти, перецветающей черным рыжеющим фоном, где три пестрых цвета вились вперегонку один за другим на спиральках, слагающих цветоподобный орнамент—оранжевый, рыжий и желтый, нарушенный изредка здесь синеглазкою, там—красноглазом, но в общем являя вид—тигровый; перетертый ковер, тоже тигровый, точно таких сочетаний, пластался под столиком, под четырьмя, приседавшими, очень разлапыми креслами;—жест их являл мне достойный пугающий вид четырех поприсевших на корточки профессоров, на колени поставивших руки; четыре декана присели на корточки здесь: заседать; и их резчик изрезал; и лаком покрыл полировщик; обил им колени атласом безжалостный мебельщик: стали четыре декана—присевшими креслами! И приходящие гости садились на них: сочиняли свои беспокои из слов, свою борзопись бестолкового слова; здесь дамы садились бобынями; и—перелистывали альбомы под абажуром, атласным, оливковым, с блондами; здесь через шелесты юбок и щебеты ротиков мне поднесется пробасина грубого голоса; все кружевеет; и веет—духами;—

— у дам наблюдал я особый, немой разговор, обращенный друг к другу; и—состоящий из жестов; они сообщают друг другу

какие-то сведенья, мне и мужчинам весьма непонятные; дама, бывало, воскликнет на даму:

— «Какая вы бледная?»

Дама—смолчит, но головкой протянется к даме и бровки поднимет: кистями обеих поставленных друг перед дружкою ручек укажет на низ живота, чуть чуть выпятив губку; другая, тотчас догадается, еле кивнув; и меняет скорей разговор, получив раз'яснение.

Мне раз'яснения—нет!..—

— Наблюдаю в углу я трехногую горку: безбокая горка! На ней расставляется белоголовица куколок; это—фарфор: пастушенок, пастушка в соломенной шляпе, в фарфоровой, в розовой юбочке, серая моська; и—италианец раскрашенный (ярко коричневый и с о к а р и́ н о й в руках) и какая-то малая берендейка-игрушечка; и безголовый китаец;—

— и многое множество очень занятных вещей безвреме́нствует здесь; много кресел, гардин, б р о к а т е л и на мебелях; все так красиво, но все так безвыходно, безатмосферно, безгласо; все—бе́зымень, призрак: приставлено к зраку; отставится—звуками; звуки влетят, перестроивши все и настроивши новое.

. . . . . .

«Мрмля»—раздается здесь!

«Мрмля»—

— очень сложный аккорд:—

— он расплаканным, мокрым кисляем ложится на клавиши; и септаккордами, и ноннаккордами водится: черная косточка—«ге»; «д л я - д л я - д л я» есть трезвучие; «мрмля»—

— очень сложный аккорд: раскричится, как... Альмочка; нет, громче Альмочки: разговаривает, как... мама:—

— все дрогнуло, все замигало мне в душу; подсвечники задребезжали кружочками; стены подтянуты, выросли; точно расширены в высь потолков; углубились и до́-нельзя стали прозрачны—

— уже на колесиках к креслу по́катится через гостиную кресло; на ципочках, вдруг пролетев и возвысясь от грянувших звуков,—стоит!

Образуется в музыке что-то безгранное: бабушка, я, тетя Дотя, Дуняша,—поймем; папа—нет: вот он выйдет поревывать в звуки; и петь об'яснения, вставивши грань:

— «Да, Лизочек: конечно же... Музыка есть математика, не приведенная к ясности...»

— «Лейбниц еще говорил» попытается вспыхнуть зеленою искрой, как мамины гранные серьги.

— «Вот тут помогает весьма рациональная ясность французских мыслителей» снова пытается вспыхнуть он красною ясностью; вспыхнет не он, а опять-таки вспыхнули серьги.

— «Туман! Это немцы туман напускают!»

Но ясность французских мыслителей лопнет под звуками Шумана; не понимает он музыки; и—называет все то, что там скачет по клавишам—шумом: не Шуманом; скачет не шум, а—

— веселенький пансиончик из маленьких девочек; все—в пелеринках, и т р а-л я-л я-л я:—

— побежали подкидисто девочки всем пансиончиком: быстро состроились в пары; подкидисто, быстро прошли в коридор:—

— коридорная дверь затворилась: закрыто пьанино: погасли подсвечники...

СПУТНИК.

Бежали минуты, как девочки, по коридорчику: вечным своим пансиончиком; двигалась стрелка часов оттого, что́ бежали они; в воскресенье, поднявшись, кряхтя, на давно раскачавшийся стул, сопровождаемый возгласом:

— «Эдак проломите стуло»,—

— мне папа устраивал время, закручивая часовую пружину; и—

— трр—

— трр—

— трр—

— повороты хрипели, закручивая: понедельники, вторники, среды: и—«трр-трр-трр»—до субботы: включительно!

Новая неделя затикала!

. . . . .

Дни выпадали рябые: то—солнце, то—тень; то снежок, а то—дождик; снега растворялись; и я проходил по мутнеющим дням шоко-

ладными лужами, говором шамкнувших снегом лопат и веселою брызнью извозчиков; вечером март был—сияющим мартом; устраивал хрясты ледя́нистых ракушек; ножкою я наступаю на ракушку лужицы: и—заметаются быстро под ракушкой темные пятна; и—в лужицу ножка уйдет. К Севастьянову жаворонки прилетели; от Севастьянова— к нам прилетели: румяно и сдобно; изюминки-глазки люблю выковыривать им; и озакусывать вкусно головкой: с'едобно и сдобно— совсем бесподобно; покушаешь—после поднимется к горлышку «ик»!

Пролетела недела: и папа—заводит иную, апрельскую:—

— юной

весной сковыряли замазку; и—юной весной мы просунулись в грохоты; образовались сухи́ничи там, где грязнели окляклые мягкости; пышечник ходит по дворику; слышны его прибаутки:

— «Мальчишки принес я вам пышки: тащите ко мне пятачишки!»

Разносчик орет горлодером «купить-продавать»; тарарыкает грохотно водовозная бочка: и мебель с обивкой линючего цвета поставили: бьют выбивалкою; хлопают громко ковры меж двумя полотерами; жизнь на дворе занимает меня! дубоносая дылда, Антон, растопырился вон не в тулупе, а в розовом ситце; торопится: сквернословит в пространство; торопится за белокурою курицей красный петух;. ухватившись за шейные перья своим щипким клювом, он перую спину намнет ей пернатыми шпорами ног, прокачавшись совсем кровяным гребешечком.

У нас—изменения: в воздухе носятся желтые моли; в передней две папиных шляпы —коричневая (чужая) и серая (то же). А папа взлезает на стул; и—заводится третья неделя; он есть времявод: коновод! Удивительный!

. . . . . .

— Скрипен и прост, но он—скрытен: скрипит и спешит на весь дом, суетою вертясь среди нас, нарушая порядок: беспомощным зовом к порядку; нет, он не хитер, но... какую то тайну вложили в него: запечатанный, склепанный он, как бочонок, который, прегрохотно сброшенный с лестницы, может в своем проверженьи давнуть очень больно, перескочивши чрез встречное, чтобы упавши, подпрыгнуть и кракнуть расколотым деревом.

Неотвратимы мгновенные выбеги с карандашиком в гущи домашних забот, молниеносно по-своему понятых (и не с того вовсе боку); и тотчас решенных не в том направлении: папа—короткий, дубовый бочонок, затрахавши, выпукло бросится лбом крепче крепких кокосов; и выдохнув запахи войлока жесткой щетиной, прокатится с

очень спешащими глазками в замысел ваш из очков, поднимаемых пальцами, от которых несет сургучом, с раскричавшимся как-то визгливо, по-бабьи, и как-то навязчиво, ртом—весь косматый, безбровый:

— «Да, что вы?»

— «Позвольте-же!..»

— «Да, не так это вы...»

— «Как же можно?»

— «Вот эдак...»

Откатитесь: передвигаемый стол очень бодро пройдется не в том направленьи на медных колесиках, трахнувши в бедра Дуняши ореховым краем:

— «Ой, барин!»

Отбацав свое косолапое дело на белой стене, где лиются легчайшие лилии, и отнесясь, как дубовый бочонок под желтый буфет, он наткнется; и деревянные массы ответят в сквозном передроге стаканными звонами.

— «Ах: все напутали!»

— «Шли бы вы прочь!»

Папа, павши, подпрыгнет и кракнет, распавшись на брусья—беспомощно, перебегая испуганно переглядными глазками:

— «Ах-с, в самом деле-с...»—

— вы ждете: в бочонке закупорен слепок пролипших сельдей, или гроздики винограда, осыпанные отрубями; а выпадет:—

— мягкий малиновый выливень милых муслинов, прекрасных муаров и ярких пожаров арабской материи, вы—удивляетесь:—

— вылеты в гущу забот, направляемы нормой практической философии стоиков, которая—в диогеновой бочке; ее заклепали в дубовые формы и в широчайший пиджак, надуваемый суетой попыхов:—

— и горошиком прыгают пальцы; из-под жилета покажется хлястик сорочки:

— «Да вы подтянитесь!»

Подтянется; и—обнаружится прежнее: хлястик сорочки; так прямо отступит он хлястиком в свой кабинетик от гущи забот: в беззаботицу... интегрального исчисления...—

— Да, в диогеновой бочке сидит «содержание»: солнечным танцем и солнечным рдянцем: и бочка

грохочет, а Диоген в ней невидим; из кракнувшей бочки он выпрыгнет вдруг с фонарем; и забегает в переполохе нежнейшими глазками:

— «Где человек?»

Глазки кажутся малыми жуликоватыми мышками; грохотно раздастся из гущи лишь «урч» *) повседневности: так вот в животике:—

— сверху аухает тоненким плачем:

— «Ааа-ууу!» Этажем же пониже, как уркнет; и «у р ч» перекатом пойдет: сверху до-низу: справа налево...—

— Уж пучится прочно за облаком облако; в пучень немых дымоглавий прокатятся в мае громовые тучи; блестят обливные зеленые крыши; и—вот самолетный пушек подвился; громобойная улица охает; знаю: стрельнет очень скоро в окне легколетная ласточка ..

. . . . . .

Папа проходит украдкой, на ципочках, горбясь без ропота от неудобств, им несомых, весь в шуточках, детских и блещенских; он—изгонялся из комнат; стараясь быть равным (профессор—с профессором, с дворником—дворник), он низился на полукорточки перед носом; и оттого то все «ципочки» мерили папочку сверху с надменством:

— «Он—ниже!»

И папа подпрыгавал тут, шибанувши,—нахала, профессора, пшюта, министра! Не поняли этих эзоповых выступлений в домашнюю жизнь: бичевать предрассудки стоическим смыслом, слагавшимся от сокращения знаменателя и числителя дроби забот, и являющего новый с п о с о б, как например:—с п о с о б чистки картошки:—

— «Во-первых»— сгибает мизинец, долбе́жит, подбрасывая слова перочинным ножом с очень громким прошарком—«картофель, да-с, да-с, очень трудно же было, поверьте, перевести в Старый Свет..»

— «Во-вторых»—загибает с поклоном второй, безымянный он палец—«его очень трудно-с, вы знаете, было ввести среди нас!»

— «В третьих»—сломит зачем то большой, ногтеватый свой палец, оставшися с третьим и указательным; и приподнявши двуперстно над кухонным чадом рукой́, как раскольничий поп, Пустосвят, он проходит громами по кухоньке...

*) Заимствую слово у А. М. Ремизова.

— «В третьих же: надо пройти от кремневого века к железному, чтобы дойти до ножа, Афросинья; соединенье ножа в деле чистки картофеля есть Афросинья, итог, интеграция очень сложных вопросов культуры»—

— пойдут тут «а х а̀ х и», пойдут тут «ахохи»; и вся многопарная кухня ударится в слух: Афросинья, Дуняша и я—

— втихомолку тащу я свирепую редьку: свирепая редька!—

— А из заслонки огонь побежит гребешками; и треснет полено; дымком замутилось оно и слюной заплевалось; и шипно запела, кружась, световая неясность; везде на полу разбросали подсолнухи: значит сидел тут Антон; и Дуняшу обхватывал; были тут фырки и брыки; сидела поодаль на стуле знакомая баба,—бабнò; это толстое очень бабно называли нахалкой (похабная бабища!); знаю бахалда-нахалка бахорила сочные чмоклости; да, и она разевала теперь желтый рот; и сидела грудасто, и прела мордасто, распучив бебéху; засалилась желтыми лосками.—

— Папа, невидя насмешек, матáсился над Афросиньею и алалупл свое:

— «Чистка этих картофельных клубней есть, так сказать, интеграция действий; а вы—не так чистите...»

— «Ай-ай-ай-ай: разве можно так чистить? стремительно (действия папы стремительны) вырвав каурый клубыш из руки Афросиньи, давнув между пальцами, так что подброшенный в воздух, картофель упал, подобрал его с полу, расставил он ноги; и... и...—

— по всем правилам очинения карандашика, сам он зачистил:

— «Так-так вот... Не от себя, а к себе...»

— «Барин!»

— «Я говорю вам: очинивают карандашик, картофель,—вот так: таким способом», грудь, как меха, выдувала огонь из ноздрей.

— «Барин!»

— «Да-с: есть свой способ на все...»

Я подметил, как баба, стащила моркву; папа вышел из кухни; и все заказáкало, все загагакало: дружный г а г а́ к доносился; а папа перипатетиком громко, дубасо шагал в коридор, ропоча, что м е т о д а очинки картофеля—да: рациональная-с!

. . . . . .

— «Где человек»—восклицал Диоген.

Отвечало пространство: потупленным «иком».

Явись Диоген среди мраморной курии Юлия (папы), Моро, или Есте, среди Леонардо-да-Винчи, расшитого, подвитого и в огненной тунике, женоподобного Рафаэля, Лоренцо, иль Валле, иль Поджио,— произошел ли скандал в благородном семействе столетия; и разразились бы хохотом, как разражалися смехом на выходы папочки, хлястиком вверх, в ритуалы домашних забот.

Папа не был в пятнадцатом веке; поэтому был он грубее, как... грек; но он был здоровее; не с нежной жестокостью Борджио, с грубой, аттической солью невинно выплясывал он на паркетах свои «козловаки»: один «козловак» удавался особенно—с «музыкой» думаю: папа, шутник, это зрелище строил нарочно, чтоб нас позабавить (он—скрытен); разыгрывал зрелище он, как по нотам: бывало я вижу: —

— в столовой над шахматным ящиком, чавкает чаем, передвигая слова, как фигуры над шахматным ящиком,—очень скуластый, мордастый, скорей коротыжка, но: прыткий и кидкий; он кракает крепким крахмалом, перегромыхивая словами, как пешками в шахматном ящике; мама люлюкает звуками над белозубием клавишей; папа мешает—словами и «ча́вчами»...

— «Вы, Михаил Васильич, не слышите музыки: слышите шум? Ну—признайтеся»...

— «Нет: отчего-ж!..»

Он слышит—военные марши; и—Глинку; порой буравéчит себе он под нос дергачи козлодером и слышутся бýрды ему вместо Шумана; вместо Бетховена просто—«бехтенье» какое то там; но с задором поднявшися, он тарарахает:

— «Все композиторы бедны мелодией; выдумки нет: я бы—выдумал...»

— «Ну-ка: попробуйте?»

— «Что-ж, отчего-ж?..» И поднявшись от шахмат (играл он с собою самим), гнется с громким пыхтением на табуретик, весь серенький, выделяясь на черном изысканном лаке пьанинной доски; и над ним бронзовеет настенник. Нацелившись пальцем на ноту,—он бацнет: на ноту.

— «Ну, дальше?»

— «Бац, бац!»

— «Ах, чудовищно!»

— «А отчего же-с: не плохо!»—и ухнувшим гудом, и бухнувшим дудом бебанит бабоном, бабунит пумпяном: напомнит он звуками то, что порой происходит в желудке, где—

— что-то отдастся упавшим бурчаньем, где «некоторррые», которые катятся книзу, напоминают таинственных некоторрр-

-ррр-

-ррр-

-ых!

Папа встанет над ломберным столиком; бьет, точно в спину негроса, покрытого лаком, своим самословьем: —

— таскает везде кабинетик; притащит и — расставляет, как ширмочки.

Нет: он — гвоздебиец; по клавише бить не умеет. —

— А выветрень дыма несется в совсем самоцветные окна; и, черная скромница, тень, приседает; покровные дали устали; и стали закатом; и там красноглавая туча — двуглава; и вот, обезглавлена: плисами плющится; веет прохладною ночью; и — поднялись: семиноги теней руконожием дней; не отвертимся: всем предстоят разговоры с неделей; «тук» чешется лапкою ужас: разводит в передней пахучую псину; из коридора опять многолапо косматые страхи бьют запахами метанов и запахами пептонов.

Хватающий страх побежал с того места, где папа отбацал.

Боюся я папочки: грозен бывает он.

. . . . . .

Демон Сократа, неслышимый Леонардо-да-Винчи, живет в нем; и из него выпрядает тончайшую атмосферу — не выливень мягких муслинов, малиновых плещущих плисов, а содержание —

— жизни духовных существ, обоснованных им же впоследствии в малой брошюрочке «Монадология», отданной в философический сборник по просьбе покойного Грота; «Монадологию» он проповедывал в комнатах. —

. . . . . .

Раз он рассказывал сон — пресерьозный.

— «Да, знаете...»

— «Видел я сон».

— «Прекурьозный!»

Развесистым, широконоздрым лицом он приставился к слову, которое подавал осторожно, как очень пахучее блюдо из яшмовых

ягод, стараясь не разронять, но показывая, что—шутит: «Да, знаете, видел я сон—прекурьезный»—повеяло мне ветерочками, веяло мне благодатями.

— «Сон—прекурьезный»—взвинтил он наддернутый нос как то наискось, снизу и вверх; и—ноздрил добропыхом.

— «Конечно-же-с, сны—сны, нда... все таки есть сны одни, и другие... т а к и е»—сидел, как вдыхающий запахи липы, в блаженном разморе, помахивая под носом, как будто уже мы в Андреях-Наливах, во днях где озимые ходят наливом.

— «Как будто я вижу во сне, что поставлен Касьяновский, знаете столик, дубовенький»,—произнес он очками.—«А на столе—земляника»—подпрыгнули брови его и свалились очки и расставились руки.

— «Со мной—незнакомец с таким симпатичным, раз'ехался он доброщеким лицом «симпатичным и честным лицом; и мы—кушаем ягоды.»

— «Я принимаюсь ему излагать очень спешно основы «М о н а д о л о г и и»,—вовсе не лейбницевой, а моей: пункт за пунктом»—откинулся он, посмотрев на багет и сидел в большой нежности—так: ни с того, ни с сего; и—сконфузился словом.

— «А незнакомец, взяв ягоду, выслушал очень внимательно первый мой пункт о монадах—да, знаете,—мне говорит, улыбаясь: «Я с вами, Михаил Васильич, согласен: вот именно, именно; определение вами монады и просто, и точно, и—главное: передает суть вещей.»—Перешаркнул ногами под скатертью папочка, голову низко склонив, представляя нам жест незнакомца; сидел и дышал... Да и дернулся весь через стол карандашиком:

— «Я ему—пунктик второй!

Оборвался в изморе и нежности; и—весь откинулся.

— «Он мне и тут: «Я согласен: вот—именно!»

— «Вдруг понимаю я тут»—почесался—«э, э, да я где то уж видел сообразительного молодого философа»—и растаращился глазом от... страха, хотя и старался прикрикнуть всем видом своим. «Ничего-с, ничегос-с, успокойтесь, Михаил Васильевич!»

— «Э, э! Эти кудри, бородка—э, э... Ти-ти-ти... Да ведь это... Христос?.. Вот так штука!»

— «И я Ему пунктик за пунктиком. Я Ему!»

Встал, протянув свою руку.

— «Он—встал. Он—сказал: «Да, я с вами согласен!»

«Тогда я Ему»—тут задетился папочка, косолапый и щурый от нежности: «Мне ужасно приятно, что Вы, так сказать, Мировая Мо-

нада—Центральная, знаете ли,—наддавил он—«и высших порядков по отношению к нашему, что, так сказать, принимаете...»

— «Поцеловались Мы с Ним!»

— «Я ему говорю», щелкнул пальцами, я—говорю: только, знаете «Отче» вот «Наш»—безусловно монадологично, не спорю, а—все же «принялся курносо над пальцами загибать точку зрения—следовало бы, во первых, слова «Отче наш», заменить выражением»—и на минуту задумался, и забасил вдруг восторженно.

— «Так например: «О», басил он «Источник, Чистейшего Совершенства».

Остановился.

— «Иль так например: «О» — опять забасил — «Абсолют, так сказать...»

Вдруг совсем удивился—до крайних пределов, почти... до досады.

— «А Он мне на это «Да: вы бы, Михаил Васильич,—без так сказать: «О, Абсолют», а не «так сказать, о Абсолют!» Я ему: «Да помилуйте, что вы, да разве... А Он»—удивление, боль и досада теперь написались над папиным носом, под папиным носом: А Он...

— «Он, представьте—исчез!»

И свирепо развел он ладонями.

— «Вот так история!»

Гулко пошел разводить дуботолы ногами по плитам паркета; и мне показалось, что тетя—живеет, бабуся—белявица, мама—совсем ароматница; зааананасились духом мы все; а в открытые окна прошел ветерок от Небесной Империи, где возложили китайские кáнфы; так небо накрыло нас всех головою своею; наверное, папа,—крещеный китаец!

. . . . . .

— «Лизочек теперь веселится у Усовых: я, вот,—куда уж: такая несчастная, жить я хочу; а нет жизни» бывало, печалится тетя.

А папа на это выходит таким лоборогом, подкидывая тупоносые ноги, не подгибая колени, засучивши руки за спину: не клонится ухом, но слушает духом, закрывши глаза и стараясь попасть нога в ногу.

— «Да полноте вы, Евдокия Егоровна!» —

— и начинает теперь из него погрохатывать: выливнем слов, выдыхаемых; грохало свежестью света; срывалося ясным разглядом; и—зажигало закаты; везде по столовой кидались блестянники; грохало в нем, прорезаяся в черточках всей несуразной его головы, как-то косо сидящей, малиновеющей

как-то не цветуще устами; лазоревым взором выхватывал он из себя уверения в том, что достоинство —

— да! —

— человека — огромно, что...

— «Знаете, Евдокия Егоровна, вы ведь — вселенная: пересеченье монад; а монада есть мир!»

— «Что вы плачетесь?»

— «Э, да смотрите бодрее: ходите с высоко приподнятым лбом!»

И заходит с высоко приподнятым лбом, белорозовый весь, белосветый, на толстых ногах,—по годинам, заглядывать в смежную комнату, точно в грядущую эру, где —

— да! —

— Евдокия Егоровна, знаете ли, наконец обретет вновь уверенность: перенести свою долю!

И раскидавшись ладонями, он собирал в доброемное лоно сырой материал переплаканных слов, превращая его, как Господь, в бирюзовые ливни, в перловые ясности; точно какой синеокий, бывало, прийдет к нему в очи; и — духом исходит на нас: на паркеты квартиры, напоминая Сократа, пред ядом; и припадает всем корпусом к стулу; и — шепчутся: бабушка с тетечкой:

— «Вот — человек?»

— «Золотой!»

— «Брилиянтовый!!»

Видим: со срезанных тучек слепительно брызнули светом: края, обода; вот уже — напурпурились, напепелели, намеркли; стеклянное небо, превысясь, ушло в безнебесие; снизу ярчела полоска: китайского шелка...

. . . . . .

Мне ведомо: «с и л ы», в нем жившие, после паденья с великого в грохот смешного, невидимо ширились пальмами света; и — « р а й» поднимался: густой атмосферой; гласила и мама: с огромной серьезностью:

— «Да, Михаил вот Васильевич?»

— «Что?»

— «Да он — «с и л а...»

Так въ слабой потусклости кабинетика, серо-зеленого, серо-кофейного с прорезью ярко-оранжевых бликов (от лампы) таилася мощная гамма персидских пестрот, выгрохатывающая гласом Духова Дня.

Да, вот такою мне чуялась «с и л а,» лучимая им; и — да: «н е к о т о р ы е» — пенаты: меня проницают; квартира пронизана ими;

струят стены — ток; этажерки, столы, кресла, стулья стоят в неподвижной грозе, — заряженные; еслибы знал «электричество», то я сказал бы, что лейденской банкою папа поставлен средь комнат: о, о! Не касайтеся шарика банки: укусит! О, о! Не дразните: стрельнет он иглой (шаровая поверхность его головы походила на шарик от лейденской банки); и гвозди летали; и воздух квартиры, каким его помню, — «гвоздиный»; —

— широкоплечий, короткий мой папочка был, как... большая чернильная банка...

«Некоторые» (элогимы)! сидели глубоко и молча; столкнувшися с подлостью, грохали «бацом»; и взрявкивал, как... на Делянова, на министра, в гостинице, в номерочке, куда он сложил чемодан по приезде своем в Петербург, где унизили папочку коридорные слуги, которым казался он жалким (он с ними шутил), — до минуты, как подали карточку в маленький номер: министр просвещенья приехал с визитом; и папа подшаркнул министру; и подал приветливо руку ему; чрез секунду уже он заерзал на стуле и, полусдернув настольную скатерть, вдруг ерзнувшей в воздух рукой, — он упал на Делянова «бацами:»

— «Как же вы, батюшка?»

— «Ээ?»

— «Э!»

— «Оставьте!»

— «Да полноте: полноте!»

— «Да уж куда тут!»

— «Эхма!»

А как отбыл министр в министерской карете, пред папой все — в вытяжку!

Папа кричал: на студентов, доцентов, профессорш, профессоров, литераторов, болтунов, либералов, министров; и в «сферах» его уважали: —

— я «сферы» себе представлял «космосферами,» неотвердевшими в шарики: шарик земной — отверденье такое —

— его сослуживцы и робкие жатели рук (уважаемые и «жаемые») после туда проходили: в министры; а он оставался «деканом», вертя как угодно колесами, —

— (о которых я думал, что это колеса... какие то... Iезекиилевы) —

— факультета! —

— Да, да: в «к о с м о с ф е р ы» его не пускали, боясь, что завертит по своему он «к о с м о с ф е р ы» такие, —

— так точно, как вертят скрипучею ручкой кофейницы, или как вертят хрипучей шарманкой, взгрустнувшей Травьатой —

— представилось: —

— верно он в форменном фраке заводит тягучие арии: в Университете, на дворике, прямо под окнами Марьи Васильевны Павловой, ей приподняв котелок: —

— и ему из окошка она, прямо под ноги, бросит медяшку, ее завернувши в бумажку: там папа «в с е м» вертит!

Но «с ф е р ы» не любят, чтоб ими вертели; они не даются; а папа вдали проживает от «сфер:» —

— наконец представление «с ф е р ы» окрепло: оно —

— полый шар, изнутри освещаемый светом; туда пропускают невидимый дух — из кишки; и вот — дутая «с ф е р а;» попасть в нее можно: для этого надо протечь из кишки, превратиться в «о т с у т с т в и е» (там все — «о т с у т с т в и е»); папа п р и с у т с т в о в а л всюду; и в «с ф е р у» пошел бы просунутым хлястиком, не подтянувшись и выпятив прочный живот: все бы лопнуло, так, как пузырь, световою блеснув оболочкой... из мыла; —

— для папы такие надутые «с ф е р ы» — пузырики: он надувал их из мыла, забавя меня; выдувал до меня: выдувал из огня; и смотрел, как летают; и тыкал в них пальцем; иные из них отвердели; и — да: на одной мы живем (земной шарик есть «с ф е р а»): —

— и папочка наш, выдувающий шарик — земной, вызывает во мне восхищенье и трепет; он — строит «м и р ы,» опускаясь, где нужно, на них и блуждая там «спутником» из Андерсеновой сказки, не узнанным теми, кого он проводит до цели, — с огромным зонтом, с котелком, сбитым чьею то злою рукою на лоб; повстречался он с нами; и нас доведя, он покинет, махнувши прощально рукою по воздуху: —

— нас он покинул: прошло восемнадцать уж лет, как ушел он себе: в световые свои космосферы! —

— я знаю: в веках переряжен он многое множество раз; посетил Авраама; откланялся: нет его! Но Авраам исполняет завет, потому что он знает:

появится папа: и — спросит отчет: —

— и боюсь я: худыми поступками явно желтеет моя малокровная жизнь: мышьяковая зелень в глазах, под глазами! —

— он после уже, не замечен никем, проживал на квартире, в Содоме; и так же, как мы, содомляне глумились: он — тихо, покорно сносил: —

— («Михаил наш Васильич — да, да: человек без характера; он — кипяток, он — горячка, но — тряпка какая-то»)! —

— Мама не знает, в чем «с и л а:» я — знаю: —

— и держит сокрытая «с и л а» меня.

. . . . . .

Знаю: я заключил с ним завет; на Синае, коленях своих, передал содержанье двух книжечек (малой зеленой и малой лиловой: то — Ветхий и Новый Завет); если я, уподобясь евреям, заветы нарушу, последовав зову кричащей мне мамочки (— «Котик, сюда: не смей слушать отца!»), если я убегу за альков сотворять с ней тельцов из конфетинок, ленточек, бантиков, пряжечек и эластичного, китова уса, корсетного, буду потом я охвачен паническим ужасом; будет не «г в о з д ь,» а — почище «г в о з д я»:

Будут громко разбиты скрижали «з а в е т а!»

О нет, лучше уж быть заушаемым, мамой терзаемым; чтож: христиане терзались; и львы выпускались из клеток; так я: запираемый папой в немой кабинетик, как в клетку,—учусь; он—уходит из клетки; в открытую дверь пролетает рычащая мамочка, львица; но то—испытание; львица—личина, подобие, все таки: «символ» пребольно дерется; но «с и л а» завета — со мною; и с мамою я не иду пировать по язычески: я отвергаю рукой шоколадинку Крафта, прижавши сухую, немую скрижаль: буду «с и л о ю» я!... —

— Потому что я видывал «с и л у» огня, потому что я слыхивал звуки «г в о з д я;» и мне ведома участь Содома!...

. . . . . .

Он снял там квартиру, выказывая смехотворную слабость; чудоковато, рассеянно он вычислял вместе с Лотом, талантливым молодым человеком в очках, проводимым сквозь строй содомлян, к «д о ц е н т у р е;» и содомляне кричали, как мамочка:

— «Нет, он воняет трухою!»

Но Лота он вывел; и снова вернулся к себе: и бросали в него очень тухлые яйца, воняющие пептонами; он же в открытую форточку выставив «гвоздь», как зарявкал, устроив мгновенно им Мертвое море; и перебрался он в Грецию, претерпевая невзгоды от очень строптивой квартирной хозяйки, Ксантиппы; там выпивши яд, появился в шестнадцатом веке — заплатанным странником: с тем же огромным зонтом, с котелком, в сюртуке-лапсердаке; стучался под окнами; встреченный, тихо садился за стол, принимался рассказывать так же, как Доте, — «Монадологию;» тут незаметно он путался, видя упавших надеждами; и пересказывал личные впечатленья событий, происходивших при... Кесаре Августе и при Понтийском Пилате; он там, притаясь за обломком, невидимый вовсе Марией, но—видимый Им, —

— от Него непосредственно получил указания, как поступать и что делать,—в тысячелетиях времени; тут же, пройдя по векам, напрямик, перерезав большую дорогу, явился звониться: к нам в комнаты,—с очень набитым портфелем, набитым «Заветами;» ныне—невидимо служит и тайно всем нам образует: —

— он встретился с мамочкой: мамочка, бабушка, тетя и дядя уже голодали, когда растранжирила бабушка «все;» двадцать три жениха, как собаки, сидели вокруг, предлагая жениться; но папочка выручил, выведя мамочку под-руку и приведя ее в дом Косякова (а женихи разбежались) —

— и мамочка знает: «все» знает; и знает, что папа позволил себя ей ругать, но... до... до...: до «гвоздя;» до «гвоздя» и ругается; и водворяется после «гвоздя» величавая строгость и ясность «простых отношений»: зеркально, хрустально, как в день мироздания! —

— если преступим мы «гвоздь», оборвутся вновь «красные ливни», и —Мертвое, горькое море откроется в комнатах тотчас.

. . . . . .

Вращается веретень дней: в тень теней!

О М.

Рай —блестянник.

От веточки разойдется разрывом; звездеет; и—хвост изольет; и кометой прокапают перья; и — фукнется крыльями:—

— райская птица! —

— А то из огней и теней прокипит полосатость; и—рыкнет: то—тигровый зверь, нареченный мной тигром за игры теней и огней, образующие световую его оболочку: «т и г р у...» Вот —

— древесность поднимется вверх крылопёром; в средине надуется Диск, выгибая двукрылие и опадая дождем светорозовых перьев, ему образующих тело: —

Оно разорвется и — — — — — — — — Разорвется Он грудью и
выбьет огромный светящийся выбьет Мечом; пронесется
гейзер, стрельнувший столбом, Любовью: Огнем как Ме-
как мечом, в мировое чом, в мировое
Ничто!— — во Все!

— Узнаю́ что тот Меч есть —
Архангел; зовут Ра-
фаилом его:
Рафаил
Звук
раз-
ры-
ва! —

— Да, Рай есть блестянник! —

— Деревья, схватились развесистым склянником, ясным сквозным серебрянником в тысячеветвий Светильник, пронизанный золотой теплотой канители и красной светелицей; все, что ни есть, прохватило себя световой канителью; все—нити и бусы; цветы, как фонарики; и не плоды, а шары разрезвились искрами, играми: тиграми! Издали, где началось Семиречие—пальмовый лес забывает расплавом кораллов (стволами) и движится кронами светоперых пальметт, образующих задышавшее, пестрое, полосатое небо: —

— да, в Персии эти цветные ковры—оплотнение древнего неба: из Персии видели (издали) иллюминацию с Тигра; летающий фейерверк Рая; туда, Заратустра, быть может,—порой приглашался!..

В тверданистых лабрадоровых почвах, пьянея, пенеет Евфрат, ударяющий бисером в берег; а Тигр—колобродит: в крутой Лабрадор (где-то издали); над Лабрадоровым комом, приподнятым выше небес, разорвет,—будто трубами: бубнами:

— «О!

— «Ом!

— «Мирамма!

И — повторяется: «Он, мир, — Брама». И пишется: Махабхарата: —

— я уплотнил в продолжениях жизни моей подымавшийся звук: —

— «Ом-мир-мира-ам-амо!» — — «Неизреченный мир, дивный,— люблю!»

— «Амма-амо-мам мама!» — «О кормилица, люба: ты — матерь материи!»

— «Рам-рама-брам-брама!» — — Герой, посвященный,—как бог!»

— И мы тут распадались на возгласы: и собирался из возгласов возглас ответный:

— «О!»

— «Ом!»

— «Оммирамма!»

. . . . . .

Мы знали: идет Оммирамма по саду—Невидимый; помнится— — видим состав из Светильников, скрещенных, бурно взрывающих пламень, в котором Он ходит, —

— и пламень, как Куст, полыхается, в выси; отсюда, из Свешников, Он разливает перловую бороду (а водопад бороды называется Богом); свергаются в горсти подставленных нами ладонок кипящие образования, а с т р ы (иль звездочки); а с т р ы влагаем мы в бурю светелицы; и канитель собирается в тело: в астральное; так образуем кругом Животы, иль животных; то акт нарицания

Бородяной же Поток есть собрание Светочей, или Начал: Борода, излитая Потоком,—Начала: Времен.

Показуется изредка световое двуперстие в Свечниках; и — происшествие странное, странный Состав из Светильников, движется: далее!

. . . . .

Это и было живое прохожее Дре́во, плодами которого были мы сыты; Коллегия Свечников, или Начал—Времена; они—круг. Но отпала одна из Светилен, Дикирий,—светильня Состава, заползала палкой подсвечника; выставив свечи, как роги, присвоивши имя огромного

круга Начал: так явилась Змея—бесконечное Время, начало свое потерявшее; это «н а ч а л о» осталось в Составе Начал.

Очень скоро Дикирий распался на Дия и Кирия; так появился в Раю самозванец, себя именующий Д и в н ы м В л а д ы к о ю: он научил нас отведывать звезды Потока, которые в горле у нас оплотнели, как грешные яблоки: —

— помню, как бурей меня выметая из Рая, неслась канитель золотая, когда-то святая—неслась, облетая: средь почв и земель, близ Тигра, куда я излил все рабочие поты свои: так развел я близ Тигра просторы болотистых местностей с «с u l e x о м», заражающим малярией меня: —

— ах, спросите, пожалуйста Месопотамца: здоровы ли местности Тигра; почешется он под тюрбаном, сконфузясь:

— «Не очень, Саиб!»

. . . . .

Занимаясь сложением каменных, твердых столбов, из которых сложилось потом Вавилонское наше пленение, не очень то я...; впрочем: было пока еще сносно: —

— пока Патриархи водили; я понял: они суть Отцы от Начал, или «папы»; я их разгадал: Патриарх—переряженный Свечник Состава, завернутый в ризы: как старый, рождественский Рупрехт, напялит седую, кудластую бороду, солью осыплет ее, чтоб блестела, приставит к Безличию нос (из картона) и облекаясь в виссоны, торчащие золотыми горбами, как у священника, он выдает свою жизнь лишь концами воздетых светильных огней,—то зубчатой короной, а то брилиянтовой Митрой, напоминающей Митру вселенского Патриарха; и ставит на тумбочку чашу: с заветами, нам об'ясняющими период явленья его; —

— Патриарх открывает период, проводит; потом у порога другого, становится вдруг он «Е н о х о м»: берется на небо, оставив: пустые виссоны, огромную бороду, нос!..

Ныне водит нас папочка; Мафусаил водил прежде; водил Авраам; поведет... кто еще? —

— Так открылося, что патриархи «Енохи»; Мафусаил был—«Енох»; Мельхиседек—то же самое; то есть, которое в небо берется живым, облачась при сошествии с неба на землю в почтенные, патриаршие, стариковские—ризы и раки: —

— да, да: «старики» образуют союз; «с т а р и к и» твердо знают, где раки зимуют:

зимуют на небе, где все старики, образуя одно «с т а р и к о в с т в о»— бормочущим рокотом выгромыхивают заветы; и пшамкают святости; слов не расслышишь: —

— но слышишь: сплошную невнятицу, шопотом выговаривающую беззубо:

— «Бфф!»

— «Бфф!»

— «Бэф, бэф, бэф!» —

— в перекатах, где —

— не-ко-то-

-рр-

-рр-

-рр-...

Н е к о т о р ы е, К о т о р ы е!

В папе — «о н и»; и «они» есть лишь «он»: электричество, патриаршество, «некоторые, которые...» — в папочке: —

— папочка —

тоже Енох: подвязав себе бороду и подвязавши живую лягушку, свой нос,—из под носа «е н о ш и т»: священным заветом! Он—в утреннем, сером халате, обшитом малиновым плисом, с кистями, с малиновым плисом обшитыми рукавами, напоминающими патриаршее одеяние,— вкладывал в грудку мою роковые познания эти; испуганный тем, что в столовую часто врывается мамочка, стал запирать по утрам в кабинете меня и рассказывал походя мне, умываясь и фыркая брызгами, про патриархов, навеки связавших нас с ним, священнодействуя перед краном, стуча зубочисткою в жесть рукомойника, за которым на стенке я знаю висел и таинственный «г в о з д ь»; все деяния папочки напоминали деяния архиерея, в сверкающей митре по середине сверкающих заиконостасных пространств—над престолом, Скалой Лабрадора; «е н о ш и л» он носом и воздевал рукава над фарфоровой чашею: умывального тазика; и из прищуров, мокреющих, широконосого лика,—гласил:

— «Да вот, Котенька: тут...»

— «Братец мой!»

— «Тут: Авраму явилися странники», то есть, опять таки «п а п ы...»

— «Явились, сказавши: Аврам, будешь ты—Авраам!»

— «Знаешь ли...»

— «И родишь, знаешь ли,—Исаака!» —меня!..

А когда доходило до Жертвы, то мы упирались естественно в гущу семейных забот, потому что моею домашней заботою была именно,— Жертва: достойно возлечь на огромнейшем камне, чтобы достойно быть закланным: мамою!

. . . . . .

Вижу я сны, будто папа уроком венчает на царство меня; он приходит с дарами познаний, как с чашею, переполненной драгоценным каменьем, парчами и вкусными фруктами; он безглагольно стоит парчевым Алтабазом, стоит с ананасом, с опортом, иль гусевым яблоком, даже с антоновкой, духовым яблоком; днеет; и скатится звездочка — светленьким следиком, к утру возложат атласы, китайские канфы; природа, как древний китаец, древнеет проростами; и из Небесной Империи веет в окошко лазоревым воздухом.

КРАСНЫЙ АНИС.

Вечерами апреля идет голубое раздолье и алые зореньки; тучи— златые; слагаются: в голубоалое, в голубозлатое, в золотоалое; август— лиловый; июль — серо-сизый, гнетущий жарою; в июне: закат — золотильня, закат — золотарня; Маруся-заря, златобровая, ходит по улицам мира; золотолеею дождики сеит она на Разваню; полезет Дадон, очень толстое облако: бухарит бубнами!.. Грохотко!

. . . .

Майское утро; пастух, как петух, забехтит на окошко из строгого рога — от каменной тумбы Арбата; сквозь сон я расслышу бехтение: шесть! Колоколец коровы долдóнит; к заставе проходят коровы: краснухи, пеструхи; на улицах очень нелюдко; лишь пустомель дворников гонится метлами.

Сплю...

. . . . . .

Васильковое небо — с коричневым коршуном; коршун от неба на землю сигает — за крышу; захлопотали, расхлопались золотохохлые курицы; коршун — над крышей несется обратно; и слышится папочка, кириелесящий куралесину; носятся желтые моли; а ходим на новых путях: по Пречистенке, Стоженке; тянет сквозь почки ласкательным маем; и видятся дом шоколадного цвета (здесь будет когда нибудь Штаб), дом Ганецкого да колоннада Мариинского Института с глухой кавалерственной дамой Чертовой — глухой, а не пиковой; Кистеров дом; вон военный, оттуда выходит: сам Кистер.

А мы возвращаемся: Левшинским!

. . . . . .

Были мы раз за Москвà-рекой: там за рекой приседает Москва плотенея домами; там домики обставляют дома; вылезают домовины, каменно виснут домищи; и Кремль разордеется, ставя, под небо Ивана, свой палец в наперстке; золотожарней огрóмнеет Спас; колокольни, как пасхи; и башни, как... бабы: совсем, как закусочный столик?

Москва!

. . . . . .

По утрам мы украдкой бежим по Завету, зелененькой книжечке: грехопаденье, потоп, патриархи, Египет, Синай, разделение царства, пророки, цари — позади; прикатилося новое времечко крашенным, красным яичком, закусочным столиком, пасхою, чмоком, и говором общим: — «Воскресе, воистину!»

И каталажина грохотких, грохлых катанцев—в открытые окна; и то упраздняется Бог,, у которого — борода; начинается: Сын Человеческий, прежде меня пострадавший; и тем искупивший; и мне надлежит искупить; кто еще не искуплен?

Да мамочка!

Это рассказано папою, вынуто из лиловенькой книжки с калиновым солнышком новозаветного лета.

О мамочка, ангелица-белица, ты кажешься львицею, уготовляя чистейшую участь: помучить меня! И я мучаюсь мыслями, стоя под окнами: чист ли, очищен ли; —

— а в васильковое небо змеярочка,
Змей из бумаги, как дернется, дуги рисуя, протянутой дерюзгóй из мочала; но ветер спадает, —

— и —

— дергаясь тарантой, дроботунит бумагою Змей: обнаружилась желтая рожа над крышею!..

А за спиною жарúт — от додонного тела, от парусинового лепетуна-пиджака: это папочка прижимает к груди; точно участь провидя мою, мне синеет глазами; пойдет златоискр, златосверк от меня, от распятого... мадам Горнунг, —

— которую пригласят из ее стрекоточного заведения для свершения всего этого: котиково распятие,— эй, вы послушайте! — будет, когда, приготовившись, Котик подаст вам ладонки; и папа прорявкает:

— «Се, человек!»

Под очками сверкнут два бирюзника: папины глазки; заплачет он?

. . . . . .

Да, он заплакал, когда раскатался скандал; анафематила мама и била меня за вступление в Новый Завет; папа это увидел; хохлатый, он яркою лицевою багровиной бросился и дубобоко он вырвал меня, принапялил касторовый серый колпак с очень режущим ластиком мне на вихóристый лобик и выпихнул силою; мы покидали на веки родимый вертеп; и бежала за нами собака-вавака; и — амкала-гамкала: Иродов воин!

Мы бросились к первой пролетке; она тарарыхнула; папа накрыл меня крепким об'ятием; старое это моржовье лицо припадало губами ко мне претяжолко выревывал папа: так жить не возможно; у нас— безысходное злобство; скопилося много: и псины, и зляны; пропсеть можно вовсе — в таком злообразии; —

— и тарарыкала это же самое выцветшим цветом пролетка, подпрыгнув раскоком под кумачевою занавеской, которая кинулась в нас пузырйсто с окошка и под которою лопасть зеленого фикуса, точно приветствуя, переплеснулась; —

— а я отвечал, но не помню, что именно; так мы вступили в завет, на извозчике, для очищения нашего дома от псины и пыли; —

— но дернул сухой пылелет вереею крутимых бумажек, быстрея винтами; пошел ветродуй, ветрогар, ветросвист; снова дернулся змей из трубы в пылевое и слéтное небо; но зацепившись за сеть телеграфных столбов упадающей, яркой бумажною мордою, — дрябло повесился; —

— тут я подумал: да, да: я как льстец под словами,—змея под цветами; и мне захотелось: распяться... —

— бурели столбищи пылищи Девичьего Поля; сквозь них была скачка на нас белосерых и мраморных кóней; блеснул позумент и простертые сабли драгун, этих мчащихся воинов Ирода, сделанных мамой —

— там — плац для ученья; теперь же, за скверйком, Клиники там!

. . . . . .

Я не помню, что было у дяди Ерша, куда папа привез меня, битого: было — орависто, многосемейно; от капельно-малой постельки на коврик ко мне перевесился с кубиком очень назойливый зоя, двоюрный мой братик, совсем обессиленный; я попытался его

исцелить: — не целился; кругом собрались ротыши, сопляки — малыши;—

— «Мы тебя вздедерю́чим!»

Заду́милось мне — на весь день; —

— раз я видел: Дуняша, проплюнувши гвоздик себе на мозоль изо рта, колотила по шляпке железкой, приставивши гвоздик к багету; тяжелую штофную штору повесили: —

— здесь на столе я возлягу; сперва все зада́довит; знаю: задышит угарным своим газодуем душник; и откроется запах пептонов; и перетопами неизбежного выйдут из двери с ореховым крепким багетом, сломавши мне плечики; будет же шествие: через гостиную с «доринесимыми чинми», с портнихою-стрекачихою, вызванной мамочкой, Каиаффой моей, — с мадам Горнунг, которая прикала́кает с белошвеями к детской, где стелится морок: —

— пространство — изболтано; время — оболгано; и беспричинно причинность чинит-учиняет законы; снимает иконы и дарит законы, где гонят погони — исконные кони; копытом копают по полу, и...

— «Да минует меня сия чаша» —

— тогда носорогая Горнунг, огромная, черная, в адовом платье (за ней — белошвеи) является, руки свои протянув; и гагакают громко, как черные галки:

— «Распни-ка!»

— «Распните-ка»...

И — придушитикой: гнутым багетом! В сердитую тучу все сгинуло; злы́днем прикрыло; моя Генриэтта Мартыновна — в слезь! Знаю, знаю: заадовит перед столовым столом, где разденут и будут смеяться над голеньким, мною; и Горнунг, глотая слюну, пропластает мне ручки; велит белошвеям взмахнуть молотками: долдонить по шляпкам гво́здей молоточной железкой — к багету! Уже окровавится десятерни́к моих пальчиков; буду висеть на багете, давая свои наставленья Дуняше рыдающей — вплоть до иссопа.

В квартире профессора Помпула будет удар — растяжелый, дубовый; в расселину стен протопорщится Помпул, двухохлый и глохлый, свидетельствуя: совершилось!

Тогда: —

— небеса просветятся таким аксамитово-синим; взлетят облака-бархата́ны; —

— совсем персиканы! —

— И алтабáзом, персидской парчою, обветрится небо, чтоб быть амиантовым, меркнущим в золото-хохлое облако; —

— снимут меня: и двадцаткою демикотона с кровавою меткою Елизавета Летаева поскорей обвернув, отнесут в сундучок, где упрятаны крупы, откуда раз вынули дохлую мышку; и будут сидеть и молчать; кто-нибудь прикурнет к сундучку; кто-то скажется плачем над мертвеньким котиком; а уж по комнатам дилиньдúкает воркотун; и все — слушают:

— «Что это?» —

— Белобубенчики: я — воркотуню...

И все приголубятся; всем просияют: все свечи, все лампы, все звуки, все речи; и папа, поднявшись главою семейства, взволнованно очень поведает:

— «Котик воскрес!»

. . . . . .

В этих мыслях провел я весь день у Ерша: о мучениях мне предстоящих на завтра я думал, пока за окóшком не высветился студень-камень зеленовитый — из неба; —

— со дворика видел я: —

— мокренький кустик — золотоносец какой-то; оттуда — воняет (и да: золотарь, да и тот не заходит сюда); были там златорылые свиньи; и — чавкали, чавкали золото; но по поднебесью бледносиние шпаты какого-то лунного цвета уложены; —

— то — амианты —

— зензею зензеял комар: зазиньзинькал мне в уши; меня понесли на диван — зевачом. —

— Так запомнился вечер!

. . . . . .

Проснулся в руках Генриэтты Мартыновны: мама за мною послала ее:

— «Kotik, komm!»

Мама встретила, двери открыв, Ангеликою: крыльями шали накрыла; и — плакала вместе со мною:

— «Мой миленький, маленький: ты уж прости, Христа ради!»

Я был, как воскресший; ходил в златоемы зари и смотрел, как над крышным железом, распучась, торчали кипучие зеленодары из листьев: хотелося кануть в оливковый сумрак стволов.

. . . . . .

Будто этой весною воскрес, пребывая нетленно (и нощно и денно) в событиях галилейской квартиры, пресуществляя ее очень грешную, очень арбатскую жизнь: —

— Иудея — гостиная; и Галилея—столовая; выточи, вѝсенцы света лежат светославами на алебастровом бюстике, или—апостоле; с озера Тивериадского, коврика, я простираю кисейную руку; от кресла лысеющий папа, зимарь, побежал по воде,—мне навстречу, подставив ладошки (такой дароим◦ц!), за солнечным, брошенным зайкой; меня—

— уже нет!—

— Я прошел Галилею; я ножками меряю малый квадратик паркетного пола:

— «Вот здесь, вот на этом паркетике—будет сошествие Духа; а вот на этом оно—не свершится!»—

— Уже на одном—световѝт, светослàв, светодуй! На другом—

— марамóрахи пыли!

. . . . . .

Одно неизбежное солнце упало на землю; садится на землю: садится за землю!

Другое, возбежное, явится утром: надуто, пурпурово; бегом пройдется; и—скажется—

— маленьким: вот оно, желтая блеснь! Вот малюсенький, яростно скачущий в глазках кружочек, мерцающий до-синя после же:—

Старый закат—златоуст!

. . . . . .

Или вот, представляется мне: —

— Соберутся у чайного столика: —

— папочка,

— мамочка,

— бабушка,

— дядя и тетя —

— а Генри-

этта Мартыновна—нет,
потому что она лютеранка;—
—возникну
на столике я перед ними:
— «Даю вам—мой мир!» —
—и простерши ладонки, на них покажу две багровины: выли (волдырики, пробитни); заотделяют от скатерти —
—под потолок! —
—где блесòчусь я вы́течью света; сбегу огонечком над папою, мамою, дядею, тетею; я —
—надвисаю теперь, распая́нный на пестрые пятна захожего света, на обагрения подоконников, —
—перед которыми скоро бабуся
затеплит лампадку;
лампадка горит;
я—невидим,
не слышим, —
—как речь безглагольная; здесь по ночам проливаю лилею; и мама узнает свое благовестие в ней, когда вспомнив о Котике, очень бессонною ночью опустится в складочки спущенных штор; из за складок склоню я свое ангеличье, свое серебричье...

. . . . . .

— И вижу я —
—папа венчает на царство меня: он приносит дары в дориносице; передо мною стоит с парчевым алтабазом, стоит с ананасом, с опортом, иль с гусевым яблоком,—да же: с антоновкой, духовым яблоком; и—утверждает.
— «К Андреям Наливам—нальешься ты знанием!»
— «Будешь—плод зрелый!» —
— И то происходит в Касьянове, где я стою в колося́нистых сеянцах, в Тимофеевых травах, в других ароматах. Уже золотянкою, нитью златою, затеяла бабазаря сарафан во все небо. Касьянов-распятель, хозяин имения, где мы летуем, проходит в свою ананасницу—там средь зеленых боске-

тов; и он есть маркиз с очень-очень нерусскою речью, которую уважают так все.

— «Не пора ли вас, Котика,—а р к е б у з и́ р о в а т ь: расстрелять а р к е б у з о й моей».

В ананасниках—раскаленная пещь; выгоняются нам ананасы; туда, Даниил, я могу быть повержен!

Я знаю во сне, что не здесь, на Арбате, мой крест, а в Касьяновских луговинах, в еланных мура̀вицах, где, тихо журкая, брызжет еланный ржаве́ц и студнеет железистым, водным лазориком, где на заре—Назарея, где сивый старик на кали́чине слепо жует а р ж а н у х у, налобив безухую и кругловерхую а с ь к у, шапчонку, где зори, достойные бабы, надев сарафаны свои, з л о т а р и, приготовят на небо мой путь, как... Илье, и где все угощаются красным анисовым яблоком.

Папа и тут восстает предо мной, гремит оглушительно:

— «Будет—восстание красных анисов!»

. . . . . .

И я просыпаюсь; и вижу в окошечке, скатится звездочка—светленьким следиком; к утру возложат атласы, китайские канфы; природа, как старый китаец, древнеет проростами; папа—крещеный китаец!

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ

ПЕРВОГО ТОМА.

СОДЕРЖАНИЕ.

СТРАН.

Алконост. Кончина А. А. Блока 7
Андрей Белый. Кончина А. А. Блока 8
Евг. Замятин. Кончина А. А. Блока 11
Александр Блок. Ни сны, ни явь 12
Анна Ахматова. Стихотворения 16
Андрей Белый. «Преступление Николая Летаева» 21

СОДЕРЖАНИЕ № 5 «ЗАПИСОК МЕЧТАТЕЛЕЙ»: *Александр Блок.* «Возмездие» (черновые наброски); *Андрей Белый.* «Так говорит правда (афоризмы); *Евг. Замятин.* «Пещера» рассказ *М. О. Гершензон.* «Демоны глухонемые» и «Солнце над мглою» (афоризмы); *Мариэтта Шагинян.* «Чудо на колокольне», пьеса; *В. Зоргенфрей.* «Блок»; Стихотворения: *Александра Блока, Анны Ахматовой, Андрея Белого, Вл. Ходасевича, В. А. Зоргенфрея.*

№№ 6—7 «Записок Мечтателей» посвящен памяти Александра Блока. Воспоминания и статьи: Андрея Белого, Анны Ахматовой, Вячеслава Иванова, Р. В. Иванова-Разумника, В. В. Гиппиуса, Евг. Замятина, В. А. Зоргенфрея, М. А. Кузмина, Н. А. Клюева, Вл. Пяста, Федора Сологуба, К. И. Чуковского, Мариэтты Шагинян, Викт. Шкловского, А. З. Штейнберга, П. Е. Щеголева, Конст. Эрберга, Е. П. Иванова и др.